



МИХАИЛ
ШОЛОХОВ

Поднятая целина

АЗБУКА-КЛАССИКА

ЛАУРЕАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРЕМИИ

Михаил Александрович Шолохов
Поднятая целина
Серия «Азбука-классика»

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=131247*

*Поднятая целина : роман / Михаил Шолохов: АСТ, Астрель, Хранитель; Санкт-Петербург; 2015
ISBN 978-5-389-10310-8*

Аннотация

Михаила Александровича Шолохова многие поколения читателей знают в первую очередь как автора всенародно любимого романа «Тихий Дон» и таких произведений, как «Донские рассказы», «Они сражались за Родину», «Судьба человека». В 1965 году писателю была присуждена Нобелевская премия по литературе «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Роман Шолохова «Поднятая целина» входит в число самых известных произведений советской литературы. В станицу Гремячий Лог по заданию партии приезжает коммунист Давыдов. Он готов приступить к коллективизации, и его поддерживают председатель сельсовета Размётнов и секретарь партийной ячейки Нагульнов, но все трое встречают сопротивление со стороны местных жителей. Шолохов создал книгу, оставляющую далеко не однозначное впечатление: главные герои его романа – люди безусловно честные и вызывающие уважение, но вместе с тем одержимые идеей коллективизации («второй большевистской революции»), которая для многих оказалась жестокой и разрушительной.

Содержание

Книга первая	5
Глава I	5
Глава II	8
Глава III	14
Глава IV	18
Глава V	25
Глава VI	31
Глава VII	35
Глава VIII	38
Глава IX	40
Глава X	47
Глава XI	49
Глава XII	53
Глава XIII	63
Глава XIV	66
Глава XV	71
Глава XVI	78
Глава XVII	81
Глава XVIII	84
Глава XIX	87
Глава XX	94
Глава XXI	97
Глава XXII	102
Глава XXIII	105
Глава XXIV	113
Конец ознакомительного фрагмента.	118

Михаил Шолохов

Поднятая целина

© М. А. Шолохов (наследники), 2015

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

* * *

Книга первая

Глава I

В конце января, овеванные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке (если пригревает солнце) грустный, чуть внятный запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли.

Тонкий многоцветный аромат устойчиво держится над садами до голубых потемок, до поры, пока не просунется сквозь голызины ветвей крытый прозеленью рог месяца, пока не кинут на снег жирующие зайцы опушенных крапин следов...

А потом ветер принесет в сады со степного гребня тончайшее дыхание опаленной морозами полыни, заглохнут дневные запахи и звуки, и по чернобылу, по бурьянам, по выцветшей на стернях брице, по волнистым буграм зяби неслышно, серой волчицей придет с востока ночь, — как следы, оставляя за собой по степи выволочки сумеречных теней.

* * *

По крайнему к степи проулку январским вечером 1930 года въехал в хутор Гремячий Лог верховой. Возле речки он остановил усталого, курчаво заиневшего в пахах коня, спешился. Над чернью садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого проулка, над островами тополевых левад высоко стоял ущербленный месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то за речкой голосисто подвывала собака, желтел огонек. Всадник жадно хватнул ноздрями морозный воздух, не спеша снял перчатку, закурил, потом подтянул подпругу, сунул пальцы под потник и, ощутив горячую, запотевшую конскую спину, ловко вскинул в седло свое большое тело. Мелкую, не замерзающую и зимой речушку стал переезжать вброд. Конь, глухо звякая подковами по устилавшим дно голышам, на ходу потянулся было пить, но всадник заторопил его, и конь, ёкая селезенкой, выскочил на пологий берег.

Заслышав встречу себе говор и скрип полозьев, всадник снова остановил коня. Тот на звук сторожко двинул ушами, повернулся. Серебряный нагрудник и окованная серебром высокая лука казачьего седла, попав под лучи месяца, вдруг вспыхнули в темени проулка белым, разящим блеском. Верховой кинул на луку поводья, торопливо надел висевший до этого на плечах казачий башлык верблюжьей шерсти, закутал лицо и поскакал машистой рысью. Миновав подводу, он по-прежнему поехал шагом, но башлыка не снял.

Уж въехав в хутор, спросил у встречной женщины:

— А ну, скажи, тетка, где тут у вас Яков Островнов живет?

— Яков Лукич-то?

— Ну да.

— А вот за тополем его курень, крытый черепицей, видите?

— Вижу. Спасибо.

Возле крытого черепицей просторного куреня спешился, ввел в калитку коня и, тихо стукнув в окно рукоятью плети, позвал:

— Хозяин! Яков Лукич, выйди-ка на-час¹.

¹ На-час — на минутку.

Без шапки, пиджак – внапашку, хозяин вышел на крыльцо; всматриваясь в приезжего, сошел с порожков.

– Кого нелегкая принесла? – улыбаясь в седеющие усы, спросил он.

– Не угадаешь, Лукич? Ночевать пускай. Куда бы коня поставить в теплое?

– Нет, дорогой товарищ, не призначу. Вы не из рика будете? Не из земотдела? Что-то угадываю... Голос ваш, сдастся мне, будто знакомый...

Приезжий, морща бритые губы улыбкой, раздвинул башлык.

– Полóвцева помнишь?

И Яков Лукич вдруг испуганно озирнулся по сторонам, побледнел, зашептал:

– Ваше благородие! Откель вас?.. Господин есаул!.. Лошадку мы зараз определим... Мы в конюшню... Сколько лет-то минуло...

– Ну-ну, ты потише! Времени много прошло... Попонка есть у тебя? В доме у тебя чужих никого нет?

Приезжий передал повод хозяину. Конь, лениво повинувшись движению чужой руки, высоко задирая голову на вытянутой шее и устало волоча задние ноги, пошел к конюшне. Он звонко стукнул копытом по деревянному настилу, всхрапнул, почуяв обжитый запах чужой лошади. Рука чужого человека легла на его храп, пальцы умело и бережно освободили натертые десны от пресного железа удил, и конь благодарно припал к сену.

– Подпруги я ему отпустил, нехай постоит оседланный, а трошки охолонет – тогда расседлаю, – говорил хозяин, заботливо накидывая на коня нахолодававшую попонку. А сам, ощутив седловку, уже успел определить по тому, как была затянута чересподушечная подпруга, как до отказа свободно распущена соединяющая стремянные ремни скошевка, что гость приехал издалека и за этот день сделал немалый пробег.

– Зерно-то водится у тебя, Яков Лукич?

– Чудок есть. Напоим, дадим зернеца. Ну, пойдемте в куреня, как вас теперича величать и не знаю... По-старому – отвык и вроде неудобно... – неловко улыбался в темноте хозяин, хотя и знал, что улыбка его не видна.

– Зови по имени-отчеству. Не забыл? – отвечал гость, первый выходя из конюшни.

– Как можно! Всю германскую вместе сломали, и в эту пришлось... Я об вас часто вспоминал, Александр Анисимович. С энтих пор, как в Новороссийском расстрялись с вами, и слуху об вас не имели. Я так думал, что вы в Турцию с казаками уплыли.

Вошли в жарко натопленную кухню. Приезжий снял башлык и белого курпя² папаху, обнажив могучий угловатый череп, прикрытый редким белесым волосом. Из-под крутого, волчьего склада, лысеющего лба он бегло оглядел комнату и, улыбочиво сощутив светло-голубые глазки, тяжело блестевшие из глубоких провалов глазниц, поклонился сидевшим на лавке бабам – хозяйке и снохе.

– Здорово живете, бабочки!

– Слава богу, – сдержанно ответила ему хозяйка, выжидательно, вопрошающе глянув на мужа: «Что это, дескать, за человека ты привел и какое с ним нужно обхождение?»

– Соберите повечерять, – коротко приказал хозяин, пригласив гостя в горницу к столу.

Гость, хлебая щи со свининой, в присутствии женщин вел разговор о погоде, о сослуживцах. Его огромная, будто из камня тесанная, нижняя челюсть трудно двигалась; жевал он медленно, устало, как приморенный бык на лежке. После ужина встал, помолился на образа в запыленных бумажных цветах и, стряхнув со старенькой, тесной в плечах толстовки хлебные крошки, проговорил:

– Спасибо за хлеб-соль, Яков Лукич! Теперь давай потолкуем.

² Курпай (курпей) – мерлушка.

Сноха и хозяйка торопливо приняли со стола; повинувшись движению бровей хозяина, ушли в кухню.

Глава II

Секретарь райкома партии, подслеповатый и вялый в движениях, присел к столу, искоса посмотрев на Давыдова, и, жмурясь, собирая под глазами мешковатые складки, стал читать его документы.

За окном, в телефонных проводах, свистал ветер, на спине лошади, привязанной недоуздом к палисаднику, по самой кабаржине кособоко прогуливалась – и что-то клевала – сорока. Ветер заламывал ей хвост, поднимал на крыло, но она снова садилась на спину старчески изможденной, ко всему безучастной клячи, победно вела по сторонам хищным глазком. Над станицей низко летели рваные хлопья облаков. Изредка в просвет косо ниспадали солнечные лучи, вспыхивал – по-летнему синий – клочок неба, и тогда видневшийся из окна изгиб Дона, лес за ним и дальний перевал с крохотным ветряком на горизонте обретали волнующую мягкость рисунка.

– Так ты задержался в Ростове по болезни? Ну что ж... Остальные восемь двадцатипяти тысячников приехали три дня назад. Митинг был. Представители колхозов их встречали. – Секретарь думаяще пожевал губами. – Сейчас у нас особенно сложная обстановка. Процент коллективизации по району – четырнадцать и восемь десятых. Все больше ТОЗ³. За кулацко-зажиточной частью еще остались хвосты по хлебозаготовкам. Нужны люди. Оччень! Колхозы посылали заявки на сорок три рабочих, а прислали вас только девять.

И из-под припухлых век как-то по-новому, пытливо и долго, посмотрел в зрачки Давыдову, словно оценивая, на что способен человек.

– Так ты, дорогой товарищ, стало быть, слесарь? Оччень хорошо! А на Путиловском давно работаешь? Кури.

– С демобилизации. Девять лет. – Давыдов протянул руку за папироской, и секретарь, уловив взглядом на кисти Давыдова тусклую синеву татуировки, улыбнулся краешками отвислых губ.

– Краса и гордость? Во флоте был?

– Да.

– То-то, вижу, якорек у тебя...

– Молодой был, знаешь... с зеленью и глупшой, вот и вытравил... – Давыдов досадливо потянул книзу рукав, думая: «Эка, глазастый ты на что не надо. А вот хлебозаготовки-то едва не просмотрел!»

Секретарь помолчал и как-то сразу согнал со своего болезненно одутловатого лица ничего не значащую улыбку гостеприимства.

– Ты, товарищ, поедешь сегодня же в качестве уполномоченного райкома проводить сплошную коллективизацию. Последнюю директиву крайкома читал? Знаком? Так вот, поедешь ты в Гремяченский сельсовет. Отдыхать уж после будешь, сейчас некогда. Упор – на стопроцентную коллективизацию. Там есть карликовая артель, но мы должны создать колхозы-гиганты. Как только организуем агитколонну, пришлем ее и к вам. А пока езжай и на базе осторожного ущемления кулачества создавай колхоз. Все бедняцко-середняцкие хозяйства у тебя должны быть в колхозе. Потом уже создадите и обобществленный семфонд на всю площадь колхозного посева в тысяча девятьсот тридцатом году. Действуй там осторожно. Середняка ни-ни! В Гремячем – партиячка из трех коммунистов. Секретарь ячейки и председатель сельсовета – хорошие ребята, красные партизаны в прошлом, – и, опять пожевав губами, добавил: – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно? Политически малограмотны, могут иметь промахи. В случае если возникнут затруднения,

³ ТОЗ – товарищество по совместной обработке земли.

езжай в район. Эх, телефонной связи еще нет, вот что плохо! Да, еще: секретарь ячейки там краснознаменец, резковат, весь из углов, и... все острые.

Секретарь побарабанил по замку портфеля пальцами и, видя, что Давыдов встает, с живостью сказал:

– Обожди, еще вот что: ежедневно коннонарочным шли сводки, подтяни там ребят. Сейчас зайти к нашему заводу и езжай. Я скажу, чтобы тебя отправили на риковских лошадях. Так вот, гони вверх до ста процент коллективизации. По проценту и будем расценивать твою работу. Создадим гигант-колхоз из восемнадцати сельсоветов. Каково? Сельскохозяйственный Краснопутиловский, – и улыбнулся самому понравившемуся сравнению.

– Ты что-то мне говорил насчет осторожности с кулаком. Это как надо понимать? – спросил Давыдов.

– А вот как, – секретарь покровительственно улыбнулся, – есть кулак, выполнивший задание по хлебозаготовкам, а есть – упорно не выполняющий. Со вторым кулаком дело ясное: сто седьмую статью ему – и крышка. А вот с первым сложнее. Как бы ты, примерно, с ним поступил?

Давыдов подумал...

– Я бы ему – новое задание.

– Это здорово! Нет, товарищ, так не годится. Этак можно подорвать всякое доверие к нашим мероприятиям. А что скажет тогда середняк? Он скажет: «Вот она какая, Советская власть! Туда-сюда мужиком крутит». Ленин нас учил серьезно учитывать настроения крестьянства, а ты говоришь «вторичное задание». Это, брат, мальчишество.

– Мальчишество? – Давыдов побагровел. – Сталин, как видно... ошибся, по-твоему, а?

– При чем тут Сталин?

– Речь его читал на конференции марксистов, этих, как их... Ну, вот земельным вопросом они... да как их, черт? Ну, земельников, что ли!

– Аграрников?

– Вот-вот!

– Так что же?

– Спроси-ка «Правду» с этой речью.

Управдел принес «Правду». Давыдов жадно шарил глазами.

Секретарь, выжидательно улыбаясь, смотрел ему в лицо.

– Вот. Это как?.. «...Раскулачивания нельзя было допускать, пока мы стояли на точке зрения ограничения...» Ну, и дальше... да вот: «А теперь? Теперь – другое дело. Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс...» Как класс, понял? Почему же нельзя дать вторично задание по хлебу? Почему нельзя совсем его – к ногтю?

Секретарь смахнул с лица улыбку, посерьезнел.

– Там дальше сказано, что раскулачивает бедняцко-середняцкая масса, идущая в колхоз. Не так ли? Читай.

– Эка ты!

– Да ты не экай! – озлобился секретарь, и даже голос у него дрогнул. – А ты что предлагаешь? Административную меру, для каждого кулака без разбора. Это – в районе, где только четырнадцать процентов коллективизации, где середняк пока только собирается идти в колхоз. На этом деле можно в момент свернуть голову. Вот такие приезжают, без знаний местных условий... – Секретарь сдержался и уже тише продолжал: – Дров с такими воззрениями ты можешь наломать сколько хочешь.

– Это как тебе сказать...

– Да уж будь спокоен! Если бы необходима и своевременна была такая мера, крайком прямо приказал бы нам: «Уничтожить кулака!..» И по-жа-луй-ста! В два счета. Милиция,

весь аппарат к вашим услугам... А пока мы только частично, через нарсуд, по сто седьмой статье караем экономически кулака – укрывателя хлеба.

– Так что же, по-твоему, батрачество, беднота и середняк против раскулачивания? За кулака? Вести-то их на кулака надо?

Секретарь резко щелкнул замком портфеля, сухо сказал:

– Тебе угодно по-своему истолковывать всякое слово вождя, но за район отвечает бюро райкома, я персонально. Потрудись там, куда мы тебя посылаем, проводить нашу линию, а не изобретенную тобой. А мне, извини, дискутировать с тобой некогда. У меня помимо этого дела, – и встал.

Кровь снова густо прихлынула к щекам Давыдова, но он взял себя в руки и сказал:

– Я буду проводить линию партии, а тебе, товарищ, рубану напрямик, по-рабочему: твоя линия ошибочная, политически неправильная, факт!

– Я отвечаю за свою... А это «по-рабочему» – старо, как...

Зазвенел телефон. Секретарь схватил трубку. В комнату начал сходить народ, и Давыдов пошел к заворгу.

«Хромает он на правую ножку... Факт! – думал он, выходя из райкома. – Почитаю опять всю речь аграрникам. Неужели я ошибаюсь? Нет, братишка, извини! Через твою терпимость веры ты и распустил кулака. Еще говорили в окружке: „дельный парень“, а за кулаками – хлебные хвосты. Одно дело ущемлять, а другое – с корнем его как вредителя. Почему не ведешь массу?» – мысленно продолжая спор, обращался он к секретарю. Как всегда, наиболее убедительные доводы приходили после. Там, в райкоме, он вгорячах, волнуясь, хватал первое попавшееся под руку возражение. Надо бы похладнокровней. Он шел, шлепая по замерзшим лужам, спотыкаясь о смерзки бычьего помета на базарной площади.

– Жалко, что кончили скоро, а то бы я тебя прижал, – вслух проговорил Давыдов и досадливо смолк, видя, как повстречавшаяся женщина проходит мимо него с улыбкой.

* * *

Забежав в Дом казака и крестьянина, Давыдов взял свой чемоданчик и, вспомнив, что основной багаж его, кроме двух смен белья, носков и костюма, это – отвертки, плоскогубцы, рашпиль, крейцмейсель, кронциркуль, шведский ключ и прочий немудрый инструмент, принадлежащий ему и захваченный из Ленинграда, улыбнулся. «Черта с два его использую! Думал, может, тракторишко подлечить, а тут и тракторов-то нет. Так, должно быть, и буду мотаться по району уполномоченным. Подарю какому-нибудь колхознику-кузнецу, прах его дери», – решил он, бросая чемодан в сани.

Сытые, овсяные лошади рика легко понесли тавричанские сани со спинкой, крикливо окрашенной пестрыми цветами. Давыдов озяб, едва лишь выбрались за станицу. Он тщетно кутал лицо в потертый барашковый воротник пальто, нахлобучил кепку: ветер и сырая изморось проникали за воротник, в рукава, знобили холодом. Особенно мерзли ноги в скороходовских стареньких ботинках.

До Гремячего Лога от станицы двадцать восемь километров безлюдным гребнем. Бурый от подтаявшего помета шлях лежит на вершине гребня. Кругом – не обнять глазом – снежная целина. Жалко горбятся засыпанные макушки чернобыла и татарника. Лишь со склонов балок суглинистыми глазищами глядит на мир земля; снег не задержался там, сдуваемый ветром, зато теклины балок и логов доверху завалены плотно осевшими сугробами.

Давыдов долго бежал, держась за грядущку саней, пытаясь согреть ноги, потом вскочил в сани и, притаившись, задремал. Повизгивали подреза полозьев, с сухим хрустом вонзались в снег шипы лошадиных подков, позванивал валеk у правой дышловой. Иногда Давы-

дов из-под запущенных инеем век видел, как фиолетовыми зарницами вспыхивали на солнце крылья стремительно поднимавшихся с дороги грачей, и снова сладкая дрема смежала ему глаза.

Он проснулся от холода, взявшего в тиски сердце, и, открыв глаза, сквозь блещущие радужным разноцветьем слезинки увидел холодное солнце, величественный простор безмолвной степи, свинцово-серое небо у кромки горизонта и на белой шапке кургана невдалеке – рдяно-желтую, с огнистым отливом, лису. Лиса мышковала. Она становилась в дыбки, извиваясь, прыгала вверх и, припадая на передние лапы, рыла ими, окутываясь сияющей серебряной пылью, а хвост ее, мягко и плавно скользнув, ложился на снег красным языком пламени.

В Гремячий Лог приехали перед вечером. На просторном дворе сельсовета пустовали пароконные сани. Возле крыльца, покуривая, толпилось человек семь казаков. Лошади с шершавой, смерзшейся от пота шерстью остановились около крыльца.

– Здравствуйте, граждане! Где тут конюшня?

– Доброго здоровья, – за всех ответил пожилой казак, донеся руку до края заячьей папахи. – Конюшня, товарищ, вон она, которая под камышом.

– Держи туда, – приказал Давыдов кучеру и соскочил с саней, приземистый, плотный. Растирая щеки перчаткой, он пошел за сани.

Казаки тоже направились к конюшне, недоумевая, почему приезжий, по виду служащий, говорящий на жесткое российское «г», идет за сани, а не в сельсовет.

Из конюшенных дверей теплыми клубами валил навозный пар. Риковский кучер останавливал лошадей. Давыдов уверенно стал освобождать валеки от постромочной петли. Толпившиеся возле казаки переглянулись. Старый, в белой бабьей шубе дед, соскребая с усов сосульки, лукаво прижмурился.

– Гляди, брыкнет, товарищ!

Давыдов, освободивший из-под репицы конского хвоста шлею, повернулся к деду, улыбаясь почернелыми губами, выказывая при улыбке нехватку одного переднего зуба.

– Я, папаша, пулеметчиком был, не на таких лошадаках мотался!

– А зуба-то нет, случаем, не кобыла выбила? – спросил один, черный, как грач, по самые ноздри заросший курчавой бородой.

Казаки беззлобно засмеялись, но Давыдов, проворно снимая хомут, отшутился:

– Нет, зуба лишился давно, по пьяному делу. Да оно и лучше: бабы не будут бояться, что укушу. Верно, дед?

Шутку приняли, и дед с притворным сокрушением покачал головой:

– Я, парень, откусался. Мой зуб-то уж какой год книзу глядит...

Чернобородый казак ржал косячным жеребцом, разевая белозубую пасть, и все хватался за туго перетянувший чекмень красный кушак, словно опасаясь, что от смеха рассыплется.

Давыдов угостил казаков папиросами, закурил, пошел в сельсовет.

– Там, там председатель, иди. И секретарь нашей партии там, – говорил дед, неотступно следуя за Давыдовым.

Казаки, в две затяжки поглощая папиросы, шли рядом. Им шибко понравилось, что приезжий не так, как обычно кто-либо из районного начальства: не соскочил с саней и – мимо людей, прижав портфель, в сельсовет, а сам начал распрягать коней, помогая кучеру и обнаруживая давнишнее уменье и сноровку в обращении с конем. Но одновременно это и удивляло.

– Как же ты, товарищ, не гребуешь с коньми вожжаться? Разве ж это, скажем, служащего дело? А кучер на что? – не вытерпел чернобородый.

– Это нам дюже чудно, – откровенно признался дед.

Ответить Давыдов не успел.

– Да он коваль! – разочарованно воскликнул молодой желтоусый казакишка, указывая на руки Давыдова, покрытые на ладонях засвинцованной от общения с металлом кожей, с ногтями в застарелых рубцах.

– Слесарь, – поправил Давыдов. – Ну, вы чего идете в Совет?

– Из интересу, – за всех отвечал дед, останавливаясь на нижней ступеньке крыльца. – Любопытствуем, из чего ты к нам приехал? Ежели обратно по хлебозаготовкам...

– Насчет колхоза.

Дед протяжно и огорченно свистнул, первый повернул от крыльца.

* * *

Из низкой комнаты остро пахнуло кислым теплом оттаявших овчинных полушубков и дровяной золой. Возле стола, подкручивая фитиль лампы, лицом к Давыдову стоял высокий прямоплечий человек. На защитной рубахе его червонел орден Красного Знамени. Давыдов догадался, что это и есть секретарь гремяченской партиячейки.

– Я – уполномоченный райкома. Ты – секретарь ячейки, товарищ?

– Да, я секретарь ячейки Нагульнов. Садитесь, товарищ, председатель Совета сейчас придет. – Нагульнов постучал кулаком в стену, подошел к Давыдову.

Был он широк в груди и по-кавалерийски клещеног. Над желтоватыми глазами его с непомерно большими, как смолой налитыми, зрачками срослись разлтые черные брови. Он был бы красив той неброской, но запоминающейся мужественной красотой, если бы не слишком хищный вырез ноздрей небольшого ястребиного носа, не мутная наволочь в глазах.

Из соседней комнаты вышел плотный казачок в козьей серой папахе, сбитой на затылок, в куртке из шинельного сукна, в казачьих с лампасами шароварах, заправленных в белые шерстяные чулки.

– Это вот и есть председатель Совета Андрей Размётнов.

Председатель, улыбаясь, пригладил ладонью белесые и курчавые усы, с достоинством протянул руку Давыдову.

– А вы кто такой будете? Уполномоченный райкома? Ага. Ваши документы... Ты видал, Макар? Вы, должно быть, по колхозному делу? – Он рассматривал Давыдова с наивной беззастенчивостью, часто мигая ясными, как летнее небушко, глазами. На смуглом, давно не бритом лице его с косо опоясавшим лоб голубым шрамом явно сквозило нетерпеливое ожидание.

Давыдов присел к столу, рассказал о задачах, поставленных партией по проведению двухмесячного похода за сплошную коллективизацию, предложил завтра же провести собрание бедноты и актива.

Нагульнов, освещая положение, заговорил о гремяченском ТОЗ.

Размётнов и его слушал так же внимательно, изредка вставляя фразу, не отнимая ладони от щеки, заплывшей коричневым румянцем.

– Тут у нас есть называемое товарищество по совместной обработке земли. Так я скажу вам, товарищ рабочий, что это есть одно измывание над коллективизацией и голый убыток Советской власти, – говорил Нагульнов, заметно волнуясь. – В нем состоит восемнадцать дворов – одна горькая беднота. И что же выходит из этого? Обязательно надсмешка. Сложились они, и на восемнадцать дворов у них – четыре лошади и одна пара быков, а едоков сто семь. Как им надо оправдываться перед жизнью? Им, конечно, дают долгосрочные кредиты на покупку машин и тягла. Они кредиты берут, но отдать их не смогут и за долгий срок. Зараз объясню почему: будь у них трактор – другой разговор, но трактор им не дали,

а на быках не скоро разбогатеешь. Еще скажу, что они порченную ведут политику, и я их давно бы разогнал за то, что они подлегли под Советскую власть, как куршивый теленок: сосать – сосут, а росту ихнего нету. И есть такие промеж них мнения: «Э, да нам все равно дадут! А брать с нас за долги нечего». Отсюда у них развал в дисциплине, и ТОЗ этот завтра будет упокойником. Это – дюже верная мысль: всех собрать в колхоз. Это будет прелесть, а не жизнь! Но казаки – народ закоснелый, я вам скажу, и его придется ломать...

– Из вас кто-нибудь состоит в этом товариществе? – оглядывая собеседников, спросил Давыдов.

– Нет, – отвечал Нагульнов. – Я в двадцатом году вошел в коммуну. Она впоследствии времени распалась от шкурничества. Я отказался от собственности. Я зараженный злобой против нее, а поэтому отдал быков и инвентарь соседней коммуне номер шесть (она и до сих пор существует), а сам с женой ничего не имею. Размётнову нельзя было подать такой пример: он сам вдовый, у него одна толечко старуха-мать. Вступить ему – это нареканий, как орепьев, не оберешься. Скажут: «Навязал старуху на нас, как на цыгана матерю, а сам в поле не работает». Тут – тонкое дело. А третий член нашей ячейки – он зараз в отъезде – безрукий. Молотилкой ему руку оторвало. Ну, он и совестится идтить в артель, едоков там, дескать, без меня много.

– Да, с ТОЗом нашим беда, – подтвердил Размётнов. – Председатель его, Аркашка-то Лосев, плохой хозяин. Ведь нашли же, кого выбирать! Признаться, мы с этим делом маху дали. Не надо бы его допускать на должность.

– А что? – спросил Давыдов, просматривая поимущественный список кулацких хозяйств.

– А то, – улыбаясь, говорил Размётнов, – больной он человек. Ему бы по линии жизни купцом быть. Этим он и хворает: все бы он менял да перепродовывал. Разорил ТОЗ вчистую! Бугая племенного купил – вздумал променять на мотоциклу. Окрутил своих членов, с нами не посоветовался, глядим – везет со станции эту мотоциклу. Ахнули мы, за головы взялись! Ну, привез, а руководствовать ею никто не может. Да и на что она им? И смех и грех. В станицу ее возил. Там знающие люди поглядели и говорят: «Дешевле ее выкрасить да выбросить». Не оказалось в ней таких частей, что только на заводе могут их исделать. Им бы в председатели Якова Лукича Островнова. Вон – голова! Пшеницу новую из Краснодара выписывал мелонпусой породы – в любой суховея выстаивает, снег постоянно задерживает на пашнях, урожай у него всегда лучше. Скотину развел породную. Хоть он трошки и кряхтит, как мы его налогом придавим, а хозяин хороший, похвальный лист имеет.

– Он, как дикий гусак середь своих, все как-то на отшибе держится, на отдалке. – Нагульнов с сомнением покачал головой.

– Ну, нет! Он – свой человек, – убежденно заявил Размётнов.

Глава III

В ночь, когда к Якову Лукичу Островнову приехал его бывший сотенный командир, есаул Половцев, был у них долгий разговор. Считался Яков Лукич в хуторе человеком большого ума, лисьей повадки и осторожности, а вот не удержался в стороне от яростно вспыхавшей по хуторам борьбы, коловерьтью втянуло его в события. С того дня и пошла жизнь Якова Лукича под опасный раскат...

Тогда, после ужина, Яков Лукич достал кисет, присел на сундук, поджав ногу в толстом шерстяном чулке, заговорил – вылил то, что годами горько накопило на сердце:

– О чем толковать-то, Александр Анисимович? Жизнь никак не радует, не веселит. Вот энто трошки зачали казачки собираться с хозяйством, богатеть. Налог в двадцать шестом али в двадцать седьмом году были, ну, сказать, относительные. А теперь опять пошло наыворот. У вас в станице как, про коллективизацию что слышать ай нет?

– Слышать, – коротко отвечал гость, слюнявя бумажку и внимательно исподлюбя поглядывая на хозяина.

– Стало быть, от этой песни везде слезьми плачут? Вот зараз про себя вам скажу: вернулся я в двадцатом году из отступа. У Черного моря осталось две пары коней и все добро. Вернулся к голому куреню. С энтих пор работал день и ночь. Продразверсткой в первый раз обидели товарищи: забрали все зерно под гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. Хоть счет-то им и можно произвести: обидют и квиток выпишут, чтоб не забыл. – Яков Лукич встал, полез рукой за зеркало и вытянул, улыбаясь в подстриженные усы, связку бумаг. – Вот они тут, квитки об том, что сдавал в двадцать первом году: а сдавал и хлеб, и мясу, и маслу, и кожи, и шерсть, и птицу, и целыми быками водил в заготконтору. А вот это окладные листы по единому сельскому налогу, по самооблогу и опять же квитки за страховку... И за дым из трубы платил, и за то, что скотина живая на базу стоит... Скоро этих бумажек мешок насбираю. Словом, Александр Анисимович, жил я – сам возля земли кормился и других возля себя кормил. Хоть и не раз шкуру с меня сымали, а я опять же ею обрастал. Нажил спервоначалу пару бычат, они подросли. Одного сдал в козну на мясу. За швейную машину женину купил другого. Спустя время, к двадцать пятому году, подошла еще пара от своих коров. Стало у меня две пары быков и две коровы. Голосу меня не лишали, в будущие времена зачислили меня крепким середняком.

– А лошади-то у тебя есть? – поинтересовался гость.

– Погодите трошки, скажу и об лошадях. Купил я у соседки стригунка от чистых кровей донской кобылки (осталась одна на весь хутор), выросла кобыленка – ну, чистое дите! Мала ростом, нестроевичка, полвершка⁴ нету, а уж резва – неподобно! В округе получил я за нее на выставке сельской жизни награду и грамоту, как на племенную. Стал я к агрономам прислухаться, начал за землей ходить, как за хворой бабой. Кукуруза у меня первая в хуторе, урожай лучше всех. Я и зерно протравливал, и снегозадержание делал. Сеял яровые только по зяби без весновспашки, пары у меня завсегда первые. Словом, стал культурный хозяин, и об этом имею похвальный лист от окружного ЗУ, от земельного, словом, управления. Вот поглядите.

Гость мельком взглянул по направлению пальца Якова Лукича на лист с сургучной печатью, вправленный в деревянную рамку, висевшую возле образов рядом с портретом Ворошилова.

⁴ В дореволюционное время строевую лошадь, на которой казак должен был отбывать военную службу, принимали при условии, если она ростом была не меньше 2 аршин и ½ вершка.

– Да, прислали грамоту, и агроном даже пучок моей пшеницы-гарновки возил в Ростов на показ властям, – с гордостью продолжал Яков Лукич. – Первые года сеял я пять десятин, потом, как оперился, начал дюжей хрип выгинать: по три, по пять и по семь кругов⁵ сеял, во как! Работал я и сын с женой. Два раза толечко поднимал работника в горячую пору. Советская власть энти года диктовала как? Сей как ни могá больше! Я и сеял, ажник кутница вылазила, истинный Христос! А зараз, Александр Анисимович, добродетель мой, верьте слову – боюсь! Боюсь, за эти семь кругов посеvu протянут меня в игольную ушку, обкулачат. Наш председатель Совета, красный партизан товарищ Размётнов, а попросту сказать Андрюшка, ввел меня в этот грех, крести его мать! «Сей, – говорит, бывало, – Яков Лукич, максимум, чего осилишь, подсобляй Советской власти, ей хлеб зараз дюже нужен». Сомневался я, а теперь запохаживается, что мне эта максима ноги на затылке петлей завяжет, побей бог!

– В колхоз у вас записываются? – спросил гость. Он стоял возле лежанки, заложив руки за спину, широкоплечий, большеголовый и плотный, как чувал с зерном.

– В колхоз-то? Дюже пока не докучали, а вот завтра собрание бедноты будет. Ходили, перед тем как смеркаться, оповещали. Свои-то галду набили с самого рождества: «Вступай да вступай». Но люди отказались наотруб, никто не вписался. Кто же сам себе лиходей? Должно, и завтра будут сватать. Говорят, нынче навечер приехал какой-то рабочий из района и будет всех сгонять в колхоз. Конец приходит нашей жизни. Наживал, пригоршни мозолей да горб нажил, а теперь добро отдай все в обчий котел, и скотину, и хлеб, и птицу, и дом, стало быть? Выходит вроде: жену отдай дяде, а сам иди к..., не иначе. Сами посудите, Александр Анисимович, я в колхоз приведу пару быков (пару-то успел продать Союзмясе), кобылу с жеребенком, весь инвентарь, хлеб, а другой – вшей полон гашник. Сложимся мы с ним и будем барыши делить поровну. Да разве же мне-то не обидно?.. Он, может, всю жизнь на пече лежал да об сладком куске думал, а я... да что там гутарить! Во! – И Яков Лукич полоснул себя по горлу ребром шершавой ладони. – Ну, об этом кончим. Как вы проживаете? Служите зараз в какой учреждении или рукомеслом занимаетесь?

Гость подошел к Якову Лукичу, присел на табурет, снова стал вертеть сигарку. Он сосредоточенно смотрел в кисет, а Яков Лукич – на тесный воротник его старенькой толстовки, врезавшийся в бурую, туго налитую шею, на которой пониже кадыка по обеим сторонам напряженно набухали вены.

– Ты служил в моей сотне, Лукич... Помнишь, как-то в Екатеринодаре, кажется при отступлении, был у меня разговор с казаками насчет Советской власти? Я еще тогда предупреждал казаков, помнишь? «Горько ошибетесь, ребята! Прижмут вас коммунисты, в бараний рог скрутят. Вскомянетесь вы, да поздно будет». – Помолчал, в голубоватых глазах сузились крохотные, с булавочную головку, зрачки, и тонко улыбнулся. – Не на мое вышло? Я из Новороссийска не уехал со своими. Не удалось. Нас тогда предали, бросили добровольцы и союзники. Я вступил в Красную армию, командовал эскадроном, по дороге на польский фронт... Такая у них комиссия была, фильтрационная, по проверке бывших офицеров... Меня эта комиссия от должности отрешила, арестовала и направила в Ревтрибунал. Ну, шлепнули бы товарищи, слов нет, либо в концентрационный лагерь. Догадываешься за что? Какой-то сукин сын, казуня⁶, мой станичник, донес, что я участвовал в казни Подтелкова. По дороге в трибунал я бежал... Долго скрывался, жил под чужой фамилией, а в двадцать третьем году вернулся в свою станицу. Документ о том, что я когда-то был комэском, я сумел сохранить, попались хорошие ребята, – словом, я остался жив. Первое

⁵ Круг – 4 гектара.

⁶ Казуня – презрительно-ироническое: казак, казакишка.

время меня таскали в округ, в политбюро⁷ Дончека. Как-то отвертелся, стал учительствовать. Учительствовал до последнего времени. Ну, а сейчас... Сейчас другое дело. Еду вот в Усть-Хоперскую по делам, заехал к тебе как к старому полчанину.

– Учителем были? Та-ак... Вы – человек начитанный, книжную науку превзошли. Что же оно будет дальше? Куда мы пританцуем с колхозами?

– К коммунизму, братец. К самому настоящему. Читал я и Карла Маркса, и знаменитый Манифест Коммунистической партии. Знаешь, какой конец колхозному делу? Сначала колхоз, потом коммуна – полнейшее уничтожение собственности. Не только быков, но и детей у тебя отберут на государственное воспитание. Все будет общее: дети, жены, чашки, ложки. Ты хотел бы лапши с гусиным потрохом покусать, а тебя квасом будут кормить. Крепостным возле земли будешь.

– А ежели я этак не желаю?

– У тебя и спрашивать не будут.

– Это как же так?

– Да все так же.

– Ловко!

– Ну, еще бы! Теперь я у тебя спрошу: дальше можно так жить?

– Некуда дальше.

– А раз некуда, надо действовать, надо бороться.

– Что вы, Александр Анисимович! Пробовали мы, боролись... Никак невозможно. И помыслить не могу!

– А ты попробуй. – Гость придвинулся к собеседнику вплотную, оглянулся на плотно притворенную дверь в кухню и, вдруг побледнев, заговорил полупшепотом: – Я тебе прямо скажу: надеюсь на тебя. В нашей станице казаки собираются восставать. И ты не думай, что это так просто, набалмошь. Мы связаны с Москвой, с генералами, которые сейчас служат в Красной армии, с инженерами, которые работают на фабриках и заводах, и даже дальше: с границей. Да, да! Если мы дружно сорганизуемся и выступим именно сейчас, то к весне при помощи иностранных держав Дон уже будет чистым. Зябь ты будешь засеивать своим зерном и для себя одного... Постой, ты потом скажешь. В нашем районе много сочувствующих нам. Их надо объединить и собрать. По этому же делу я еду в Усть-Хоперскую. Ты присоединяешься к нам? В нашей организации есть уже более трехсот служилых казаков. В Дубровском, в Войсковом, в Тубянском, в Малом Ольховатском и в других хуторах есть наши боевые группы. Надо такую же группу сколотить и у вас в Гремячем... Ну, говори.

– Люди роптают против колхозов и против сдачи хлеба...

– погоди! Не о людях, а о тебе речь. Я тебя спрашиваю. Ну?

– Такие дела разве зараз решают?... Тут голову под топор кладешь.

– Подумай... По приказу одновременно выступаем со всех хуторов. Заберем вашу районную станицу, милицию и коммунистов по одному переберем на квартирах, а дальше пойдут полыхать и без ветра.

– А с чем?

– Найдется! И у тебя небось осталось?

– Кто его знает... Кажись, где-то валялась, какой-то ошкамёлок... австрийского, никак, образца...

– Нам только начать, и через неделю иностранные пароходы привезут и орудия и винтовки. Аэропланы и те будут. Ну?

– Дайте подумать, господин есаул! Не невольте сразу...

⁷ Политбюро – здесь: название окружных или уездных органов ЧК в 1920–1921 годах.

Гость со все еще не сошедшей с лица бледностью прислонился к лежанке, сказал глуховато:

– Мы не в колхоз зовем и никого не неволим. Твоя добрая воля, но за язык... гляди, Лукич! Шесть тебе, а уж седьмую... – И легонько покрутил пальцем застрекотавший в кармане нагановский барабан.

– За язык можете не сомневаться. Но ваше дело рисковое. И не потаю: страшно на такое дело идтить. Но и жизни ход отрезанный. – Помолчал. – Не будь гонения на богатых, я бы, может, теперь, по моему старанию, первым человеком в хуторе был. При вольной жизни я бы зараз, может, свой автомобиль держал! – с горечью заговорил после минутного молчания хозяин. – Опять же одному идтить на такие... Вязы⁸ враз скрутят.

– Зачем же одному? – с досадой перебил его гость.

– Ну, да это я так, к слову, а вот – как другие? Мир то есть как? Народ-то пойдет?

– Народ – как табун овец. Его вести надо. Так ты решил?

– Я сказал, Александр Анисимыч...

– Мне твердо надо знать: решил ли?

– Некуда деваться, потому и решаю. Вы все-таки дайте кинуть умом. Завтра утром скажу остатнее слово.

– Ты, кроме этого, должен уговорить надежных казаков. Ищи таких, какие имели бы зуб на Советскую власть, – уже приказывал Половцев.

– При этой жизни его всякий имеет.

– А сын твой как?

– Куда же палец от руки? Куда я, туда и он.

– Ничего он парень, твердый?

– Хороший казак, – с тихой гордостью отозвался хозяин.

Гостю постелили серую тавреную полсть и шубу в горнице, возле лежанки. Он снял сапоги, но раздеваться не стал и уснул сразу, едва лишь коснулся щекой прохладной, пахнувшей пером подушки.

...Перед светом Яков Лукич разбудил спавшую в боковой комнатухе свою восьмидесятилетнюю старуху-мать. Коротко рассказал ей о целях приезда бывшего сотенного командира. Старуха слушала, свесив с лежанки черножилые, простудой изуродованные в суставах ноги, ладонью оттопыривала желтую ушную раковину.

– Благословите, мамаша? – Яков Лукич стал на колени.

– Ступай, ступай на них, супостатов, чадунюшка! Господь благословит! Церква закрывают... Попам житья нету... Ступай!..

Наутро Яков Лукич разбудил гостя:

– Решился! Приказывайте.

– Прочитай и подпиши. – Половцев достал из грудного кармана бумагу.

«С нами бог! Я, казак Всевеликого войска Донского, вступаю в „Союз освобождения родного Дона“, обязуюсь до последней капли крови всеми силами и средствами сражаться по приказу моих начальников с коммунистами-большевиками, заклятыми врагами христианской веры и угнетателями российского народа. Обязуюсь беспрекословно слушаться своих начальников и командиров. Обязуюсь все свое достояние принести на алтарь православного отечества. В чем и подписуюсь».

⁸ Вязы – шея.

Глава IV

Тридцать два человека – гремяченский актив и беднота – дышали одним дыхом. Давыдов не был мастером говорить речи, но слушали его вначале так, как не слушают и самого искусного сказочника.

– Я, товарищи, сам – рабочий Краснопутиловского завода. Меня послали к вам наша коммунистическая партия и рабочий класс, чтобы помочь вам организовать колхоз и уничтожить кулака как общего нашего кровососа. Я буду говорить коротко. Вы должны все соединиться в колхоз, обобществить землю, весь свой инструмент и скот. А зачем в колхоз? Затем, что жить так дальше, ну, невозможно же! С хлебом трудности оттого, что кулак его гноит в земле, у него с боем хлеб приходится брать! А вы и рады бы сдать, да у самих мало-вато. Средняцко-бедняцким хлебом Советский Союз не прокормишь. Надо больше сеять. А как ты с сохой или однолемешным плугом больше посеешь? Только трактор и может выручить. Факт! Я не знаю, сколько у вас на Дону вспахивают одним плугом за осень под зябь...

– С ночи до ночи держись за чапиги – и десятин двенадцать до зимы подымешь.

– Хо! Двенадцать? А ежели крепкая земля?

– Чего вы там толкуете? – пронзительный бабий голос. – В плуг надо три, а то и четыре пары добрых быков, а откель они у нас? Есть, да и то не у каждого, какая-то пара зас..., а то все больше на быках, у каких сиськи. Это у богатых, им и ветер в спину...

– Не об этом речь! Взят бы подол в зубы да помолчала, – чей-то хриповатый басок.

– Ты с понятием! Жену учи, а меня нечего!

– А трактором?..

Давыдов выждал тишины, ответил:

– А трактором, хотя бы нашим путиловцем, при хороших, знающих трактористах можно за сутки в две смены вспахать тоже двенадцать десятин.

Собрание ахнуло. Кто-то потерянно проронил:

– Эх... мать!

– Вот это да! На таком жеребце бы попахаться... – завистливый с высвистом вздох.

Давыдов вытер ладонью пересохшие от волнения губы, продолжал:

– Вот мы на заводе делаем трактора для вас. Бедняку и середняку-одиночке купить трактор слабо: кишка тонка! Значит, чтобы купить, нужно коллективно соединиться батракам, беднякам и середнякам. Трактор такая машина, вам известная, что гонять его на малом куске земли – дело убыточное, ему большой гон надо. Небольшие артели – тоже пользы от них как от козла молока.

– Ажник того меньше! – веско бухнул чей-то бас из задних рядов.

– Значит, как быть? – продолжал Давыдов, не обращая внимания на реплику. – Партия предусматривает сплошную коллективизацию, чтобы трактором зацепить и вывести вас из нужды. Товарищ Ленин перед смертью что говорил? Только в колхозе трудящемуся крестьянину спасение от бедности. Иначе ему – труба. Кулак-вампир его засосет в доску... И вы должны пойти по указанному пути совершенно твердо. В союзе с рабочими колхозники будут намахивать всех кулаков и врагов. Я правильно говорю. А затем перехожу к вашему товариществу. Калибра оно мелкого, слабосильное, и дела его через это очень даже плачевные. А тем самым и льется вода на мельницу... Словом, никакая не вода, а один убыток от него! Но мы должны это товарищество переключить в колхоз и оставить костью, а вокруг этой кости нарастет середняцкое...

– Погоди, перебью трошки! – поднялся конопатый и неправый глазами Демка Ушаков, бывший одно время членом товарищества.

– Проси слово, тогда и гутарь, – строго внушал ему Нагульников, сидевший за столом рядом с Давыдовым и Андреем Размётновым.

– Я и без просьбов скажу, – отмахнулся Демка и скосил глаза так, что казалось, будто он одновременно смотрит и на президиум и на собравшихся. – А через что, извиняюсь, превзошли в убыток и Советской власти в тягость? Через что, спрашиваю вас, жили вроде нахлебников у кредитного товарищества? Через любушку-председателя ТОЗа! Через Аркашку Менка!

– Брешешь, как элемент! – петушиный тенорок из задних рядов. И Аркашка, работая локтями, погребся к столу президиума.

– Я докажу! – У побледневшего Демки глаза съехались к переносью. Не обращая внимания на то, что Размётнов стучит мослаковатым кулаком, он повернулся к Аркашке. – Не открутишься! Не через то превзошли мы в бедность своим колхозом, что мало нас, а через твою мену. А за «элемента» я тебя припрягу по всей строгости. Бугая на моциклетку, не спрашиваю, сменял? Сменял! Яйцеватых курей кто выдумал менять на...

– Опять же брешешь! – на ходу оборонялся Аркашка.

– Трех валухов и нетелю за тачанку не ты уговорил сбыть? Купец, с с... носом! Тот! – торжествовал Демка.

– Остепенитесь! Что вы, как кочета, сходитесь! – уговаривал Нагульников, а мускул щеки уже заходил у него ходуном под покрасневшей кожей.

– Дайте мне слово по порядку, – просил пробившийся к столу Аркашка.

Он уже было забрал в горсть русую бородку, собираясь говорить, но Давыдов отстранил его:

– Кончу я, а сейчас, пожалуйста, не мешай... Так вот, я говорю, товарищи: только через колхоз можно...

– Да ты нас не агитируй! Мы с потрохами в колхоз пойдем, – перебил его красный партизан Павел Любишкин, сидевший ближе всех к двери.

– Согласны с колхозом!

– Артемом и батьку хорошо бить.

– Только хозяйствовать умно надо.

Крики заглушил тот же Любишкин: он встал со стула, снял черную угрюмейшую папаху и – высокий, кряж в плечах – заслонил дверь.

– Чего ты, чудак, нас за Советскую власть агитируешь? Мы ее в войну сами на ноги тут становили, сами и подпирали плечом, чтоб не хитнулась. Мы знаем, что такое колхоз, и пойдем в него. Дайте машины! – Он протянул порепавшуюся ладонь. – Трактор – штука, слов нет, но мало вы, рабочие, их наделали, вот за это мы вас поругиваем! Не за что нам ухватиться, вот в чем беда. А на быках – одной рукой погонять, другой слезы утирать – можно и без колхоза. Я сам до колхозного переворота думал Калинину письмо написать, чтобы помогли хлеборобам начинать какую-то новую жизнь. А то первые годы, как при старом режиме, – плати налоги, живи как знаешь. А РКП для чего? Ну, завоевали, а потом что? Опять за старое, ходи за плугом, у кого есть что в плуг запрягать. А у кого нечего? С длинной рукой под церкву? Либо с деревянной иглой под мост портняжить, воротники советским купцам да кооперативщикам пристрачивать? Землю дозволили богатым в аренду сымать, работников им дозволили нанимать. Это так революция диктовала в восемнадцатом году? Глаза вы ей закрыли! И когда говоришь: «За что ж боролись?» – то служащие, какие пороку не нюхали, над этим словом надсмехаются, а за ними строит хаханьки всякая белая сволочь! Нет, ты нам зубы не лечи! Много мы красных слов слыхали. Ты нам машину давай в долг или под хлеб, да не букарь там или запашник, а добрую машину! Трактор, про какой рассказывал, давай! Это я за что получил? – Он прямо через колени сидевших на лавках зашагал к столу, на ходу расстегивая рваную мотню шаровар. А подойдя, заголил подол рубахи, при-

жал его подбородком к груди. На смуглом животе и бедре покорно обнажились стянувшие кожу страшные рубцы. – За что получил ошкamelки кадетского гостинца?

– Черт бессовестный! Ты бы уж вовсе штаны-то спустил! – возмущенно и тонко крикнула сидевшая рядом с Демкой Ушаковым вдовая Анисья.

– А ты бы хотела? – Демка презрительно скосил на нее глаза.

– Молчи, тетка Анисья! Мне тут стыду нету свои ранения рабочему человеку показать. Пушай глядит! Затем, что, ежели дальше так жить, мне, один черт, нечем будет всю эту музыку прикрывать! Они уж и зараз такие штаны, что одно звание. Мимо девок днем уж не ходи, напужаешь до смерти.

Позади заиггокали, загомонили, но Любишкин повел кругом суровым глазом, и опять стало слышно, как с тихим треском горит в лампе фитиль.

– Видно, воевал я с кадетами за то, чтобы опять богатые лучше меня жили? Чтобы они ели сладкий кусок, а я хлеб с луком? Так, товарищ рабочий? Ты, Макар, мне не мигай! Я раз в году говорю, мне можно.

– Продолжай. – Давыдов кивнул головой.

– Продолжаю. Я сеял нынешний год три десятины пшеницы. У меня трое детишков, сестра калека и хворающая жена. Сдал я свой план хлеба, Разметнов?

– Сдал. Да ты не шуми.

– Нет, буду шуметь! А кулак Фрол Рваный, за... его душу!..

– Но-но! – Нагульнов застучал кулаком.

– Фрол Рваный свой план сдал? Нету?

– Так его суд оштрафовал, и хлеб взяли, – вставил Разметнов, блестя отчаянными глазами и с видимым наслаждением слушая Любишкина.

«Тебя бы сюда, тихохода!» – вспомнил Давыдов секретаря райкома.

– Он опять на этот год будет Фролом Игнатичем! А весной опять придет меня наймать! – и кинул под ноги Давыдову черную папаху. – Чего ты мне говоришь о колхозе?! Жилы кулаку перережьте, тогда пойдем! Отдайте нам его машины, его быков, силу его отдайте, тогда будет наше равенство! А то все разговоры да разговоры «кулака уничтожить», а он растет из года в год, как лопух, и солнце нам застит.

– Отдай нам Фролово имущество, а Аркашка Менок на него ероплан выменяет, – вернулся Демка.

– Ох-ха-ха-ха!..

– Это он враз.

– Будьте свидетелями на оскорбление!

– Тю! Слушать не даешь, цыц!

– Что на вас, черти, чуру нету?

– А ну тише!..

Давыдову насилу удалось прекратить поднявшийся шум.

– В этом и есть политика нашей партии! Что же ты стучишь, ежели открыто? Уничтожить кулака как класс, имущество его отдать колхозам, факт! И ты, товарищ партизан, напрасно шапку под стол бросил, она еще голове будет нужна. Аренды земли и найма батраков теперь не может быть! Кулака терпели мы из нужды: он хлеба больше, чем колхозы, давал. А теперь – наоборот. Товарищ Сталин точно подсчитал эту арифметику и сказал: уволить кулака из жизни! Отдать его имущество колхозам... О машинах ты все плакал... Пятьсот миллионов целковых дают колхозам на поправку, это как? Слышал ты об этом? Так чего же ты бузу трешь? Сначала надо колхоз родить, а потом уж о машинах беспокоиться. А ты хочешь вперед хомут купить, а по хомуту уж коня покупать. Чего же ты смеешься? Так-так!

– Пошел Любишкин задом наперед!

– Хо-хо...

– Так мы же с дорогой душой в колхоз!

– Это он насчет хомута... подъехал...

– Хоть нынче ночью!

– Записывай зараз!

– Кулаков громить ведите.

– Кто записывается в колхоз, подымай руки, – предложил Нагульников.

При подсчете поднятых рук оказалось тридцать три. Кто-то, обеспамятев, поднял лишнюю.

Духота выжила Давыдова из пальто и пиджака. Он расстегнул ворот рубахи; улыбаясь, выжидал тихомирья.

– Сознательность у вас хорошая, факт! Но вы думаете, что войдете в колхоз, и все? Нет, этого мало! Вы, беднота, – опора Советской власти. Вы, едрена-зелена, и сами в колхоз должны идти, и тянуть за собой качающуюся фигуру середняка.

– А как ты его потянешь, ежели он не хочет? Что он, бык, что ли, взналыгал и веда? – спросил Аркашка Менок.

– Убеди! Какой же ты боец за нашу правду, ежели не можешь другого заразить? Вот собрание завтра будет. Сам голосуй за и соседа-середняка уговори. Сейчас мы приступаем к обсуждению кулаков. Вынесем мы постановление к высылке их из пределов Северо-Кавказского края или как?

– Подписуемся!

– Под корень их!

– Нет, уж лучше с корнем, а не под корень, – поправил Давыдов. И к Размётнову: – Огласи список кулаков. Сейчас будем утверждать их к раскулачиванию.

Андрей достал из папки лист, передал Давыдову.

– Фрол Дамасков. Достоин он такой пролетарской кары?

Руки поднялись дружно. Но при подсчете голосов Давыдов обнаружил одного воздержавшегося.

– Не согласен? – Он поднял покрытые потной испариной брови.

– Воздёрживаюсь, – коротко отвечал неголосовавший, тихий с виду и неприметного обличья казак.

– Почему такое? – пытался Давыдов.

– Потому как он – мой сосед и я от него много добра видал. Вот и не могу на него руки подымать.

– Выйди с собрания зараз же! – приказал Нагульников вздрагивающим голосом, приподнимаясь словно на стременах.

– Нет, так нельзя, товарищ Нагульников! – строго прервал его Давыдов. – Не уходи, гражданин! Объясни свою линию. Кулак Дамасков, по-твоему, или нет?

– Я этого не понимаю. Я неграмотный и прошу уволить меня с собрания.

– Нет, ты уж нам объясни, пожалуйста: какие милости от него получил?

– Все время он мне пособлял, быков давал, семена ссужал... мало ли... Но я не изменяю власти. Я – за власть...

– Просил он тебя за него стоять? Деньгами магарычил, хлебом? Да ты признайся, не бойсь! – вступил в разговор Размётнов. – Ну, говори: что он тебе сулил? – и неловко от стыда за человека и за свои оголенные вопросы улыбнулся.

– А может, и ничего. Ты почем знаешь?

– Брешешь, Тимофей! Купленный ты человек и, выходит, подкулачник! – крикнул кто-то из рядов.

– Обзывайте как хотите, воля ваша...

Давыдов спросил, будто нож к горлу приставил:

– Ты за Советскую власть или за кулака? Ты, гражданин, не позорь бедняцкий класс, прямо говори собранию: за кого ты стоишь?

– Чего с ним возжаться! – возмущенно перебил Любишкин. – Его за бутылку водки совсем с гуньями можно купить. На тебя, Тимофей, ажник глазами больно глядеть!

Неголосовавший Тимофей Борщев под конец с деланым смирением ответил:

– Я – за власть. Чего привязались? Темнота моя попутала... – Но руку при вторичном голосовании поднимал с видимой неохотой.

Давыдов коротко черкнул в блокноте: «Тимофей Борщев затуманенный классовым врагом. Обработать».

Собрание единогласно утвердило еще четыре кулацких хозяйства.

Но когда Давыдов сказал:

– Тит Бородин. Кто за? – собрание тягостно промолчало. Нагульнов смущенно переглянулся с Разметновым. Любишкин папашой стал вытирать мокрый лоб.

– Почему тишина? В чем дело? – Давыдов, недоумевая, оглядел ряды сидевших людей и, не встретившись ни с кем глазами, перевел взгляд на Нагульнова.

– Вот в чем, – начал тот нерешительно. – Этот Бородин, по-улишному Титок мы его зовем, вместе с нами в восемнадцатом году добровольно ушел в Красную гвардию. Будучи бедняцкого рода, сражался стойко. Имеет раны и отличие – серебряные часы за революционное прохождение. Служил он в Думенковом отряде. И ты понимаешь, товарищ рабочий, как он нам сердце полоснул? Зубами, как кобель в падлу, вцепился в хозяйство, возвернувшись домой... И начал богатеть, несмотря на наши предупреждения. Работал день и ночь, оброс весь дикой шерстью, в одних холстинных штанах зиму и лето исхаживал. Нажил три пары быков и грызь от тяжелого подъема разных тяжестей, и все ему было мало! Начал нанимать работников, по два, по три. Нажил мельницу-ветрянку, а потом купил пятисильный паровой двигатель и начал ладить маслобойку, скотиной переторговывать. Сам, бывало, плохо жрет и работников голодом морит, хоть и работают они двадцать часов в сутки да за ночь встают раз по пять коням подмешивать, скотине метать. Мы вызывали его неоднократно на ячейку и в Совет, стыдили страшным стыдом, говорили: «Брось, Тит, не становись нашей дорогой Советской власти поперек пути! Ты же за нее страдалец на фронтах против белых был...» – Нагульнов вздохнул и развел руками. – Что можно сделать, раз человек осатанел? Видим, поедает его собственность! Опять его призовем, вспоминаем бои и наши общие страдания, уговариваем, грозим, что в землю затопчем его, раз он становится поперек пути, делается буржуем и не хочет дожидаться мировой революции.

– Ты короче, – нетерпеливо попросил Давыдов.

Голос Нагульнова дрогнул и стал тише:

– Об этом нельзя короче. Это боль такая, что с кровью... Ну, он, то есть Титок, нам отвечает: «Я сполняю приказ Советской власти, увеличиваю посев. А работников имею по закону: у меня баба в женских болезнях. Я был ничем и стал всем, все у меня есть, за это я и воевал. Да и Советская власть не на вас, мол, держится. Я своими руками даю ей что жевать, а вы – портфельщики, я вас в упор не вижу». Когда о войне и наших вместе перенесенных трудностях мы ему говорим, у него иной раз промеж глаз сверкнет слеза, но он не дает ей законного ходу, отвернется, насталит сердце и говорит: «Что было, то былшем поросло!» И мы его лишили голосу гражданства. Он было помыкнулся туда и сюда, бумажки писал в край и в Москву. Но я так понимаю, что в центральных учреждениях сидят на главных постах старые революционеры и они понимают: раз предал – значит враг и никакой к тебе пощады!

– А ты все же покороче...

– Зараз кончаю. Его и там не восстановили, и он до́се в таком виде, работников, правда, расчел...

– Ну, так в чем же дело? – Давыдов пристально всматривался в лицо Нагульнова.

Но тот прикрыл глаза короткими, сожженными солнцем ресницами, отвечал:

– Потому собрание и молчит. Я только объяснил, какой был в прошлом дорогим времени Тит Бородин, нынешний кулак.

Давыдов сжал губы, потемнел:

– Чего ты нам жалостные рассказы преподносишь? Был партизан – честь ему за это, кулаком стал, врагом сделался – раздавить! Какие тут могут быть разговоры?

– Я не из жалости к нему. Ты, товарищ, на меня напраслину не взводи!

– Кто за то, чтобы Бородина раскулачить? – Давыдов обвел глазами ряды.

Руки не сразу, вразнобой, но поднялись.

После собрания Нагульнов позвал Давыдова к себе ночевать.

– А завтра уж квартиру вам найдем, – сказал он, ощупью выходя из темных сеней Совета.

Они шли рядом по хрусткому снегу. Нагульнов, распахнув полушубок, негромко заговорил:

– Я, дорогой товарищ рабочий, легче дышу, как услышал, что сплошь надо стянуть в колхоз хлеборобскую собственность. У меня к ней с малства ненависть. Все зло через нее, правильно писали ученые товарищи Маркс и Энгельс. А то и при Советской власти люди, как свиньи у корыта, дерутся, жуют, пихаются из-за этой проклятой заразы. А раньше что было, при старом режиме? Страшно вздумать! Мой отец был зажиточным казаком, имел четыре пары быков и пять лошадей. Посев у нас был огромный, шестьдесят-семьдесят и до ста десятин. Семья была большая, рабочая. Сами управлялись. Да ведь вздумать: трое женатых братьев у меня было. И вот вонзился в память мне такой случай, через чего я и восстал против собственности. Как-то соседская свинья залезла к нам в огород и потравила несколько гнездов картошки. Мать увидала ее, ухвати в кружку вару из чугуна и говорит мне: «Гони ее, Макарка, а я стану за калиткой». Мне тогда было лет двенадцать. Ну, конечно, погнал я эту несчастную свинью. Мать на нее и плескани варом. Так у ней щетина и задымилась! Время летняя, завелись у свиньи черви, дальше – больше, издохла свинья. Сосед злобу затаил. А через неделю у нас в степи сгорело двадцать три копны пшеницы. Отец уж знал, чьих это рук дело, не стерпел, подал в суд. Да такая промеж них завелась вражда, – зрить один одного не могут! Чуть подопьют – и драка. Лет пять сутяжились и дошли до смертного случая... Соседского сына на масленую нашли на гумнах убитого. Кто-то вилами промзил ему грудь в скольких местах. И кой по чем я догадался, что это моих братьев дело. Следствие было, убийцев не нашли... Составили акт, что погиб по пьяной лавочке. А я с той поры ушел от отца в работники. Попал на войну. И вот лежишь, бывало, бьет по тебе немец чижевыми снарядами, дым черный с землей к небу летит. Лежишь, думаешь: «За кого же, за чью собственность я тут страх и смерть принимаю?» А самому от обстрела хочется в гвоздь оборотиться: залез бы в землю по самую шляпку! Эх ты, родная мамунюшка! Газы нюхал, был отравленный. Теперь, как чудок на гору идтить, – опышка берет, кровь в голову шибнет, – не сойду. Умные люди ишо на фронте подсказали, большевиком вернулся. А в гражданскую ох и рубил гадов, беспощадно! Контузило меня под Касторной, потом зачало припадками бить. А теперь вот этот знак. – Нагульнов положил на орден огромную ладонь, и в голосе его странной теплотой зазвучали новые нотки. – От него мне зараз теплее становится. Я зараз, дорогой товарищ, как во дни гражданской войны, как на позиции. В землю надо зарыться, а всех завлечь в колхоз. Всё ближе к мировой революции.

– Тита Бородина ты близко знаешь? – шагая, раздумчиво спросил Давыдов.

– Как же, мы с ним друзья были, но через то и разошлись, что он до крайности приверженный к собственности. В двадцатом году мы с ним были на подавлении восстания в одной из волостей Донецкого округа. Два эскадрона и ЧОН⁹ ходили в атаку. Много за слободой оказалось порубанных хохлов. Титок ночью заявился на квартиру, вносит выюки в хату. Тряхнул их и высыпал на пол восемь отрубленных ног. «Сдурел ты, такую твою?! – говорит ему товарищ. – Удались зараз же с этим!» А Титок говорит ему: «Не будут восставать, б...! А мне четыре пары сапог сгодятся. Я всю семью обую». Оттаял их на печке и начал с ног сапоги сдирать. Распорет шашкой шов на голенище, стянет. Голые ноги отнес, зарыл в стог соломы. «Похоронил», – говорит. Ежли б тогда мы узнали – расстреляли бы, как гада! Но товарищи его не выдали. А после я пытал: верно ли это? «Верно, говорит, так снять не мог, на морозе одубели ноги-то, я их и пооттяпал шашкой. Мне, как чеботарю, прискорбно, что добрые сапоги в земле сгниют. Но теперь, говорит, самому ужасно. Иной раз даже ночью проснусь, прошу бабу, чтобы к стенке пустила, а то с краю страшно...» Ну, вот мы и пришли на мою квартиру. – Нагульников вошел во двор, звякнул щеколдой дверей.

⁹ ЧОН – части особого назначения, организованные для борьбы с остатками контрреволюции и бандитизмом.

Глава V

Андрея Размётнова провожали на действительную военную службу в 1913 году. По тогдашним порядкам должен он был идти в строй на своем коне. Но не только коня – и полагающееся казаку обмундирование не на что было ему купить. От покойного отца осталась в наследство одна дедовская шашка в отерханных, утративших лоск ножнах. Век не забыть Андрею горького унижения! На станичном сборе старики решили отправить его на службу за счет войска: купили ему дешевого рыженького конька, седло, две шинели, двое шаровар, сапоги... «На общественные средства справляем тебя, Андрюшка, гляди, не забудь нашу милость, не страми станицы, служи царю справно...» – говорили старики Андрею.

А сыны богатых казаков на скачках, бывало, щеголяли сотенными конями Корольковского завода или от племенных жеребцов с Провалья, дорогими седлами, уздечками с серебряным набором, новехонькой одеждой... Пай Андреевой земли взяло станичное правление, и все время, пока Андрей мотался по фронтам, защищая чужое богатство и чужую сытую жизнь, – сдавало в аренду. Андрей заслужил на германской три георгиевских креста. «Крестовые» деньги посылал жене и матери. Тем и жила со снохой старуха, чью старость, соленую от слез, поздновато пришлось Андрею покоить.

К концу войны Андреева баба с осени нанималась на молотьбу, скопила денег, поехала на фронт проведать мужа. Пожила там считанные дни (11-й Донской казачий полк, в котором служил Андрей, стоял на отдыхе), полежала на мужниной руке. Летними зарницами отпыхали те ночи. Но много ли времени для птичьего греха, для бабьего голодного счастья надо? А оттуда вернулась с посветлевшими глазами и через положенный срок, без крику и слез, будто нечаянно, прямо на пашне родила, вылила в Андрея мальчишку.

В восемнадцатом году Размётнов на короткий срок вернулся в Гремячий Лог. Прожил он в хуторе недолго: поправил подгнившие сохи и стропила сараев, вспахал две десятины земли, потом как-то целый день пестовал сынишку, сажал его на свою вросшую в плечи, провонявшую солдатчиной шеей, бегал по горнице, смеялся, а в углах светлых, обычно злобноватых глаз заметила жена копившиеся слезы, побелела: «Либо уезжаешь, Андрюша?» – «Завтра. Сготовь харчей».

И на другой день он, Макар Нагульнов, атаманец Любишкин, Тит Бородин и еще восемь человек фронтовых казаков с утра собрались возле Андреевой хаты. Подседланные разномастные кони вынесли их за ветряк, и долго кружился по шляху легкий вешний прах, взвихренный конскими, обутыми в летние подковы, копытами.

В этот день над Гремячим Логом, над полой водой, над степью, надо всем голубым миром с юга на север, в вышней просторной целине спешили, летели без крика, без голоса станицы чернокрылых казарок и диких гусей.

Андрей в Каменской отстал от товарищей. С одной из ворошиловских частей он двинул на Морозовскую – Царицын. Макар Нагульнов, Любишкин и остальные очутились в Вороже. А через три месяца под Кривой Музгой Андрей, легко раненный осколком гранаты, на перевязочном пункте от случайно повстречавшегося станичника узнал, что после разгрома отряда Подтелкова в Гремячем Логу белые казаки, хуторяне Андрея, мстя ему за уход в красные, люто баловались с его женой, что все это стало известно хутору и что Евдокия не снесла черного позора, наложила на себя руки.

...Морозный день. Конец декабря. Гремячий Лог. Курени, сараи, плетни, деревья в белой опуши инея. За дальним бугром бой. Глухо погромыхивают орудия генерала Гусельщикова. Андрей на взмыленном коне прискакал под вечер в хутор. И до сих пор помнит, стоит лишь закрыть глаза и стремительный бег памяти направить в прошлое... Скрипнула

калитка. Задыхаясь, тянет Андрей повод, вводит на баз шатающегося от усталости коня. Мать, распкрытая, выбежала из сеней.

Ох, да как же резнул слух Андрея ее плач в голос, по мертвому!

– И родимый ты мо-о-ой! Закрылися ее ясные гла-а-зынь-ки!..

Будто бы на чужой баз заехал Размётнов: поводья примотал за перила крыльца, сам – в хату. Провалившимися, как у мертвого, глазами обшарил пустую горницу, пустую люльку.

– Дите где?

Мать, уткнувшись в завеску, мотала редковолосой, седеющей головой.

Насилу добился ответа.

– Да не сберегла ж я своего голубеночка! На вторую неделю после Дунюшки... от гло-тошной.

– Не кричи... Мне бы! Мне бы слезу найти! Кто сильничал Евдокию?

– Аникей Девяткин тягал ее на гумно... Меня – плетью... ребят на гумно скликал. Все ее белы рученьки ножнами побил, пришла вся черная... Одни глаза...

– Дома он зараз?

– В отстүпе.

– Есть кто-нибудь у них дома?

– Баба его и сам старик. Андрюша! Не казни ты их! Они за чужой грех не ответчики...

– Ты!.. Ты мне указываешь?! – Андрей почернел, задохнулся. Порвал застёжки шинели, ворот гимнастерки и нательной рубахи.

Припав к чугуну с водой голой реброватой грудью, пил и кусал края зубами. А потом встал, не поднимая глаз, спросил:

– Мамаша! Чего она мне переказывала перед смертью?

Мать сунулась в передний угол, из божнички вытащила пожелтелый лоскуток бумаги. И, словно родной голос, зазвучали смертные слова: «Родненький мой Андрюшенька! Спoganили меня проклятые, смывались надо мной и над моим сердцем к тебе. Не гляну я на тебя и не увижу теперь белого света. Совесть мне не позволяет жить с дурной болезнью. Андрюшенька мой, цветочек мой родимый! Я уж какую ночь не сплю и подушку свою оболью слезами. Нашу любовь с тобой я помню и на том свете буду помнить. И только жалко мне одного – дитя и тебя, что с тобой наша жизнь, любовь была такая короткая. Другую в дом приведешь, – нехай она, ради господа бога, нашего парнишоночка жалеет. Жалей и ты его, мою сироту. Мамане прикажи, чтобы юбки мои, и шальки, и кофточки отдала сеструшке. Она невеста, ей надо...»

Ко двору Девяткиных Андрей прискакал намётом, спешил и, вытащив из ножен шашку, рысью вбежал на крыльцо. Отец Аникея Девяткина – высокий седой старик, – увидев его, перекрестился, стал под образами на колени.

– Андрей Степаныч! – сказал он только, поклонился в ноги Андрею, а больше и слова не молвил, и розовой плешивой головы от пола не поднял.

– Ты мне за сына ответишь! В ваших богов, в креста!.. – Андрей левой рукой схватил седую бороду старика, пинком отворил дверь и с громом поволок Девяткина по крыльцу.

Старуха валялась у печки в беспамятстве, но сноха Девяткиных – жена Аникея – сгребла в кучу детишек (а их у нее было счетом шесть штук), с плачем выскочила на крыльцо. Андрей, белый, как облизанная ветрами мертвая кость, избочившись, уже занес шашку над стариковской шеей, но тут-то и посыпались ему под ноги с ревом, с визгом, с плачем разнокалиберные сопливые ребяташки.

– Руби всех их! Все они Аникушкиного помета щенки! Меня руби! – кричала Авдотья – Аникеева жена – и шла на Андрея, расстегнув розовую рубаху, болтая, как многоценная сука, сухонькими, сморщенными грудями.

А в ногах у Андрея копошилась детва, все мал мала меньше...

Попятился он, дико озираясь, кинул шашку в ножны и, не раз споткнувшись на ровном, направился к коню. До самой калитки шел за ним плачущий от радости и пережитого страха старик и все норовил припасть, поцеловать стремя, но Андрей, брезгливо морщась, отдергивал ногу, хрипел:

– Счастье твое!.. Детишки...

Дома он трое суток наливался дымкой, плакал пьяный, на вторую ночь сжег сарай, на перерубе которого повесилась Евдокия, и на четвертые сутки, опухший и страшный, тихо прощался с матерью, и та, прижимая его голову к своей груди, впервые заметила на белокуром сыновьем чубе ковыльные нити седины.

Через два года Андрей вернулся в Гремячий с польского фронта. Год побродил по Верхнедонскому округу с продотрядом, а потом припал к хозяйству. На советы матери жениться он отмалчивался. Но однажды мать настойчиво стала добиваться ответа.

– Женись, Андрюша! Мне уж чугуны не под силу ворочать. Любая девка за тебя – с грабушками. У кого будем сватать?

– Не буду, мамуня, не приставай!

– Заладил одно да добро! Гля-ко, у тебя вон по голове уже заморозки прошлись. Когда же надумаешь-то? Покеда белый станешь? Об матери и – бай дюже. А я-то думала, что внуков придется нянчить. С двух коз-то и пуху насбирала, детишкам бы чулочков связать... Обмыть их, искупать – вот мое дело. Корову мне уж трудно выдаивать: пальцы неслухменные стали. – И переходила на плач: – И в кого такого идола уродила! Набычится и сопит. Чего же молчишь-то? Агел!¹⁰

Андрей брал шапку, молча уходил из хаты. Но старуха не унималась: разговоры с соседками, шепоты, советы...

– После Евдокии никого не введу в хату, – угрюмо стоял на своем Андрей.

И материнская злоба переметнулась на покойную сноху.

– Приворожила его энта змеюка! – говорила она старухам, встречаясь на прогоне либо сидя перед вечером возле своего база. – Сама завесилась и от него жизнь отымет. Не хочет другую брать. А мне-то легко? И-и, милушка моя! Гляну на чужих внуков, да так слезьми и умоюсь: у других-то старухам радость да утеха, а я одна, как суслик в норе...

В этом же году Андрей сошелся с Мариной, вдовой убитого под Новочеркасском вахмистра Михаила Пояркова. Ей в ту осень перевалило за сорок, но она еще сохранила в полном и сильном теле, в смуглом лице степную, неяркую красоту.

В октябре Андрей крыл ей хату чаканом. Перед сумерками она позвала его в хату, расторопно накрыла стол, поставила чашку с борщом, кинула на колени Андрею расшитый чистый рушник, сама села напротив, подперев остроскулую щеку ладонью. Андрей искоса, молча посматривал на гордую ее голову, отягощенную глянцевито-черным узлом волос. Были они у нее густы, на вид жестки, как конская грива, но возле крохотных ушей по-детски беспокойно и мягко курчавились. Марина в упор щурила на Андрея удлинённый, чуть косой в разрезе черный глаз.

– Подлить еще? – спросила она.

– Ну что ж, – согласился Андрей и ладонью вытер белесый ус.

Он было приналег опять на борщ. Марина снова, сидя против него, смотрела зверино-сторожким и ждущим взглядом, но как-то нечаянно увидел Андрей на ее полной шее стремительно пульсирующую синюю жилку и почему-то смутился, отложил ложку.

– Чего же ты? – Она недоуменно взмахнула черными крыльями бровей.

– Наелся. Спасибо. Завтра утрецом приду докрою.

¹⁰ Агел – нечистый дух.

Марина обошла стол. Медленно обнажая в улыбке плотно слитые зубы, прижимаясь к Андрею большой мягкой грудью, шепотом спросила:

– А может, у меня заночуешь?

– И это можно, – не нашелся иного сказать растерявшийся Андрей.

И Марина, мстя за глупое слово, согнула в поклоне полнеющий стан:

– То-то спасибо, кормилец! Уважил бедную вдову... А я-то, грешница, боялась, думала – откажешься...

Она проворно дунула на жирник, в потемках постелила постель, заперла на задвижку дверь в сенях и с презрением, с чуть заметной досадой сказала:

– В тебе казачьего – поганая капля. Ведерник тамбовский тебя делал.

– Как так? – обиделся Андрей и даже сапог перестал стаскивать.

– Так же, как и других прочих. По глазам судить – лихие они у тебя, а вот у бабы попросить робеешь. Тоже, кресты на войне получал! – Она заговорила невнятной, зажав зубами шпильки, расплетая волосы. – Моего Мишу помнишь ты? Он ростом меньше меня был. Ты – ровней мне, а он чудок меньше. Так вот я его любила за одну смелость. Он и самому сильному, бывало, в кабаке не уступит, хоть нос в крови, а он все непобитый. Может, через это он и помер. Он ить знал, за что я его любила... – с гордостью закончила она.

Андрей вспомнил рассказы хуторских казаков – однополчан Маринино мужа, бывших свидетелями его смерти: будучи в рекогносцировке, он повел свой взвод в атаку на вдвое превосходящий числом разъезд красноармейцев, те «лююисом» обратили их в бегство, выбили из седел в угон четырех казаков, а самого Михаила Пояркова отрезали от остальных, попытались догнать. Троих преследовавших его красноармейцев он в упор убил, отстреливаясь на скаку, а сам, будучи лучшим в полку по джигитовке, начал вольтижировать, спасаясь от выстрелов, и ускакал бы, но конь попал ногой в какую-то ямину, переломил при падении ногу хозяину. Тут-то и подошел конец лихому вахмистру...

Андрей улыбнулся, вспомнив рассказ о смерти Пояркова.

Марина легла; часто дыша, придвинулась к Андрею.

Через полчаса она, продолжая начатый разговор, прошептала:

– Мишку за смелость любила, а вот тебя... так, ни за что, – и прижалась к груди Андрея маленьким пылающим ухом. А ему в полутемноте показалось, что глаз ее светится огнисто и непокорно, как у норовистой ненаезженной лошади.

Уже перед зарей она спросила:

– Придешь завтра хату докрывать?

– Ну а то как же? – удивился Андрей.

– Не ходи...

– Почему такое?

– Ну, уж какой из тебя крыльщик! Дед Щукарь лучше тебя кроет, – и громко засмеялась. – Нарочно тебя покликала!.. Чем же, окромя, примануть! То-то ты мне убытку наделал! Хату все одно надо перекрывать под корешок.

Через два дня хату перекрывал дед Щукарь, хуля перед хозяйкой никудышнюю работу Андрея.

А Андрей с той поры каждую ночь стал навещать к Марине. И сладка показалась ему любовь бабы на десять лет его старшей, сладка, как лесовое яблоко-зимовка, запаленное первым заморозком...

В хуторе об их связи скоро узнали и встретили ее по-разному. Мать Андрея поплакала, пожалилась соседкам: «Страма! Со старухой связался». Но потом смирилась, притихла. Нюрка, соседская девка, с которой при случае Андрей и пошучивал и баловался, долго избегала с ним встреч, но как-то еще по чернотропу, на рубке хвороста встретила лицом к лицу, побледнела.

– Оседлала тебя старуха? – спросила она, улыбаясь дрожащими губами и не пытаясь скрывать блеснувших под ресницами слез.

– Дыхнуть нечем! – пробовал отшучиваться Андрей.

– Моложе аль не нашлось бы? – отходя, спросила Нюрка.

– Да я сам-то, глянь-ка, какой. – Андрей снял папаху, указывая голицей на свою иссеченную сединой голову.

– А я, дура, и седого тебя, кобеля, прилюбила! Ну, стало быть, прощай, – и ушла, оскорбленно неся голову.

Макар Нагульников коротко сказал:

– Не одобряю, Андрюха! Вахмистра она из тебя сделает и мелкого собственника. Ну-ну, шутю, не видишь, что ли?

– Женись уж на ней законным путем, – однажды раздобрилась мать. – Пушай в снохах походит.

– Не к чему, – уклончиво отвечал Андрей.

Марина – будто двадцать лет с плеч скинула. Она встречала Андрея по ночам, сдержанно сияя чуть косо поставленными глазами, обнимала его с мужской силой, и до белой зорьки не сходил со скуластых смуглых щек ее вишневый, яркий румянец. Будто девичье время вернулось к ней! Она вышивала Андрею цветные и сборные из шелковых лоскутков кисеты, преданно ловила каждое его движение, заискивала, потом с чудовищной силой проснулись в ней ревность и страх потерять Андрея. Она стала ходить на собрания только для того, чтобы там наблюдать за ним – не играет ли он с молодыми бабами? Не глядит ли на какую? Андрей первое время тяготился такой неожиданно пришедшей опекой, ругал Марину и даже несколько раз побил, а потом привык, и его чувству мужского самолюбия это обстоятельство стало даже льстить. Марина, выдабриваясь, отдала ему всю мужнину одежду. И вот Андрей, до того ходивший голодранцем, – не стыдась, на правах преемника, защеголял по Гремячему в суконных вахмистровых шароварах и рубахах, рукава и воротники которых были ему заметно коротки и узковаты.

Он помогал своей любушке в хозяйстве, с охоты нес ей убитого зайца или вязанку куропаток. Но Марина никогда не злоупотребляла своей властью и не обделяла матери Андрея, хотя и относилась к ней с чувством скрытой враждебности.

Да она и сама неплохо справлялась с хозяйством и могла бы легко обходиться без мужской помощи. Не раз Андрей со скрытым удовольствием наблюдал, как она подымает на вилах трехпудовый ворох пшеницы, опутанной розовой повитью, или, сидя на лобогрейке, мечет из-под стрекочущих крыльев валы скошенного полнозерного ячменя. В ней было много мужской ухватистости и силы. Даже лошадь она запрягала по-мужски, упираясь в обод клеща, разом затягивая сунь.

С годами чувство к Марине застарело, надежно укоренилось. Андрей изредка вспоминал о первой жене, но воспоминания уже не приносили прежней режущей боли. Иногда лишь, встречаясь со старшим сыном Аникея Девяткина, эмигрировавшего во Францию, бледнел: так разительно было сходство между отцом и сыном.

А потом опять в работе, в борьбе за кусок хлеба, в суете рассасывалась злоба и, тупая, ноющая, уходила боль, похожая на ту, которую иногда испытывал он от рубца на лбу – памятки, оставленной некогда палахом мадьярского офицера.

* * *

С собрания бедноты Андрей пошел прямо к Марине. Она пряла шерсть, дожидаясь его. В низенькой комнатухе снотворно жужжала прялка, было жарко натоплено. Кучерявый

озорной козленок цокотал по земляному полу крохотными копытцами, намереваясь скакнуть на кровать.

Размётнов раздраженно поморщился:

– Погоди гонять кружало!

Марина сняла с подлапника прялки обутую в остроносый чирик ногу, сладко потянулась, выгибая широкую, как конский круп, спину.

– Чего ж на собрании было?

– Кулаков завтра начнем потрошить.

– Взаправди?

– В колхоз нынче беднота вступила всем собранием. – Андрей, не снимая пиджака, прилег на кровать, схватил на руки козленка – теплый шерстяной комочек. – Ты завтра носи заявление.

– Какое? – изумилась Марина.

– О принятии в колхоз.

Марина вспыхнула, с силой сунула к печи прялку.

– Да ты никак одурел? Чего я там не видала?

– Давай, Марина, об этом не спорить. Тебе надо быть в колхозе. Скажут про меня: «Людей в колхоз завлекает, а Марину свою отгородил». Совесть будет зазреть.

– Я не пойду! Все одно не пойду! – Марина прошла мимо кровати, опавнув Андрея запахом пота и разгоряченного тела.

– Тогда, гляди, придется нам – горшок об горшок и врозь.

– Загрозил!

– Я не грожу, а только мне иначе нельзя.

– Ну и ступай! Поведу я им свою коровенку, а сама с чем буду? Ты же придешь, трескать будешь просить!

– Молоко будет общее.

– Может, и бабы будут общее? Через это ты и пугаешь?

– Побил бы тебя, да что-то охоты нет. – Андрей столкнул на пол козленка, потянулся к шапке и, как удавку, захлестнул на шею пуховый шарфишко.

«Каждого черта надо уговаривать да просить! Маришка и эта в дыбки становится. Что же завтра на общем собрании будет? Побьют, ежели дюже нажимать», – злобно думал он, шагая к своей хате. Он долго не спал, ворочался, слышал, как мать два раза вставала смотреть тесто. В сарае голосил дьявольски горластый петух. Андрей с беспокойством думал о завтрашнем дне, о ставшей на пороге перестройке всего сельского хозяйства. У него явилось опасение, что Давыдов, сухой и черствый (таким он ему показался), каким-нибудь неосторожным поступком оттолкнет от колхоза середняков. Но он вспомнил его коренастую, прочного литья фигуру, лицо напряженное, собранное в комок, с жесткими складками по обочинам щек, с усмешливо-умными глазами, вспомнил, как на собрании Давыдов, наклоняясь к нему за спиной Нагульнова и дыша в лицо по-детски чистым, терпко-винным запахом щербатого рта, сказал во время выступления Любишкина: «Партизан-то парень грубый¹¹, но вы его забросили, не воспитали, факт! Надо над ним поработать». Вспомнил и обрадованно решил: «Нет, этот не подведет, Макара, вот кого надо взнуздывать! Как бы он в горячности не отчебучил какое-нибудь колено. Макару попадет шлея под хвост – тогда и повозки не собрать. Да, не собрать... А чего не собрать? Повозки... При чем тут повозка? Макара... Титок... завтра...» Сон, подкравшись, гасил сознание. Андрей засыпал, и с губ его медленно, как капли росы с желобка листа, стекала улыбка.

¹¹ Грубый – хороший.

Глава VI

Часов в семь утра Давыдов, придя в сельсовет, застал уже в сборе четырнадцать человек гремяченской бедноты.

– А мы вас давно ждем, спозаранку, – улыбнулся Любишкин, забирая в свою здоровенную ладонь руку Давыдова.

– Не терпится... – пояснил дед Щукарь.

Это он, одетый в белую бабью шубу, в первый день приезда Давыдова перешучивался с ним во дворе сельсовета. С того дня он почел себя близким знакомым Давыдова и общался с ним, не в пример остальным, с дружественной фамильярностью. Он так перед его приходом и говорил: «Как мы с Давыдовым решим, так и будет. Он позавчера долго со мной калякал. Ну, были промеж сурьезного и шутейные разговоры, а то все больше обсуждали с ним планы, как колхоз устроить. Веселый он человек, как и я...»

Давыдов узнал Щукаря по белой шубе и, сам того не зная, жестоко его обидел:

– А, это ты, дед? Вот видишь: позавчера ты как будто огорчился, узнав, для чего я приехал, а сегодня уже сам колхозник. Молодец!

– Некогда было... некогда, потому и ушел-то... – забормотал дед Щукарь, боком отодвигаясь от Давыдова.

Было решено идти выселять кулаков, разбившись на две группы. Первая должна была идти в верхнюю часть хутора, вторая – в нижнюю. Но Нагульников, которому Давыдов предложил руководить первой группой, категорически отказался. Он нехорошо смутился под перекрестными взглядами, отозвал Давыдова в сторону.

– Ты чего номера выкидываешь? – холодно спросил Давыдов.

– Я лучше пойду со второй группой в нижнюю часть.

– А какая разница?

Нагульников покусал губы, отвернувшись, сказал:

– Об этом бы... Ну, да все равно узнаешь! Моя жена... Лушка... живет с Тимофеем, сыном Фрола Дамаскова – кулака. Не хочу! Разговоры будут. В нижнюю часть пойду, а Разметнов пушай с первой...

– Э, брат, разговоров бояться... но я не настаиваю. Пойдем со мной, со второй группой.

Давыдов вдруг вспомнил, что ведь сегодня же он видел над бровью жены Нагульнова, когда та подавала им завтракать, лимонно-зеленоватый застарелый синяк; морщась и двигая шеей, словно за воротник ему попала сенная труха, спросил:

– Это ты ей посадил фонарь? Бьешь?

– Нет, не я.

– А кто же?

– Он.

– Да кто «он»?

– Ну, Тимошка... Фролов сын...

Давыдов несколько минут недоумевающе молчал, а потом озлился:

– Да ну, к черту! Не понимаю! Пойдем, после об этом.

Нагульников с Давыдовым, Любишкин, дед Щукарь и еще трое казаков вышли из сельсовета.

– С кого начнем? – Давыдов спрашивал, не глядя на Нагульнова. Оба они по-разному чувствовали после разговора какую-то неловкость.

– С Титка.

По улице шли молча. Из окон на них любопытствующе посматривали бабы. Детвора было увязалась следом, но Любишкин вытянул из плетня хворостину, и догадливые ребята отстали. Уже когда подошли к дому Титка, Нагульнов, ни к кому не обращаясь, сказал:

– Дом этот под правление колхоза занять. Просторный. А из сараев сделать колхозную конюшню.

Дом действительно был просторный. Титок купил его в голодный двадцать второй год за яловую корову и три пуда муки на соседнем хуторе Тубянском. Вся семья бывших владельцев вымерла. Некому было потом судиться с Титком за кабальную сделку. Он перевез дом в Гремячий, перекрыл крышу, поставил рубленые сараи и конюшни, обстроился на вечность... С крашенного охрой карниза смотрела на улицу затейливо сделанная маляром надпись славянского письма: «Т. К. Бородин. Р. Х. 1923 год».

Давыдов с любопытством оглядывал дом. Первый вошел в калитку Нагульнов. На звяк щеколды из-под амбара выскочил огромный, волчьей окраски цепной кобель. Он рванулся без лая, стал на задние лапы, сверкая белым, пушистым брюхом, и, задышавшись, хрипя от пере-хватившего горло ошейника, глухо зарычал. Бросаясь вперед, опрокидываясь на спину, несколько раз он пытался перервать цепь, но, не осилив, помчался к конюшне, и над ним, катаясь по железной, протянутой до конюшни проволоке, певуче зазвенело цепное кольцо.

– Такой чертан сседлает – не вырвешься, – бормотал дед Щукарь, опасливо косясь и на всякий случай держась поближе к плетню.

В курень вошли толпой. Жена Титка, худая, высокая баба, поила из лоханки телка. Она со злобной подозрительностью оглядела неожиданных гостей. На приветствие буркнула что-то похожее на «черти тут носят».

– Тит дома? – спросил Нагульнов.

– Нету.

– А где же он?

– Не знаю, – отрезала хозяйка.

– Ты знаешь, Перфильевна, чего мы пришли?.. Мы... – загадочно начал было дед Щукарь, но Нагульнов так ворохнул в его сторону глазами, что дед судорожно плотнул слюну, крикнул и сел на лавку, не без внушительности запахивая полы белой невыдубленной шубы.

– Кони дома? – спрашивал Нагульнов, словно и не замечая неласкового приема.

– Дома.

– А быки?

– Нету. Вы чего явились-то?

– С тобой мы не можем... – снова начал было дед Щукарь, но на этот раз Любишкин, пятясь к двери, потянул его за полу; дед, стремительно увлекаемый в сени, так и не успел кончить фразу.

– Где же быки?

– Уехал на них Тит.

– Куда?

– Сказала тебе, не знаю!

Нагульнов мигнул Давыдову, вышел. Щукарю на ходу поднес к бороде кулак, посоветовал:

– Ты молчи, пока тебя не спросят! – и к Давыдову: – Плохи дела! Надо поглядеть, куда быки делись. Как бы он их не спровадил...

– Так без быков...

– Что ты! – испугался Нагульнов. – У него быки – первые в хуторе. Рога не достанешь. Как можно! Надо и Титка и быков искать.

Пошептавшись с Любишкиным, они пошли к скотиньему базу, оттуда в сарай и на гумно. Минут через пять Любишкин, вооружившись слегой, принудил кобеля к отступлению, загнал под амбар, а Нагульнов вывел из конюшни высокого серого коня, обротал его и, ухватившись за гриву, сел верхом.

– Ты чего это, Макар, не спросясь, распоряжаешься на чужом базу? – закричала хозяйка, выбежав на крыльцо, руки – в бока. – Вот муж вернется, я ему!.. Он с тобой потолкует!..

– Не ори! Я бы сам с ним потолковал, кабы он дома был. Товарищ Давыдов, а ну-ка пойді сюда!

Давыдов, сбитый с толку поведением Нагульнова, подошел.

– С гумна свежие бычьиные следы на шлях. Видать, Тит пронюхал, погнал быков сдавать. А сани все под сараем. Брешет баба! Идите пока кончайте Кочетова, а я побегу верхи в Тубянской. Окромья гнать ему их некуда. Сломи-ка мне хворостинку погонять.

Прямо через гумно Нагульнов направился на шлях. За ним восставала белая пыль, медленно оседая на плетнях и на ветках бурьяна слепяще-ярким кристаллическим серебром. Бычачьи следы и рядом копытный след лошади тянулись до шляха, там исчезали. Нагульнов проскакал по направлению к Тубянскому саженой сто. По пути на снежных переносах он видел все те же следы, чуть присыпанные поземкой, и, успокоившись, что направление верное, поехал тише. Так отмахал он версты полторы, как вдруг на новом переносе следов не оказалось. Круто повернул коня, спрыгнул, внимательно разглядывая, не замело ли их снегом. Перенос был не тронут, девственно-чист. В самом низу виднелись крестики сорочьих следов. Выругавшись, Нагульнов поехал назад уже шагом, поглядывая по сторонам. На следы напал вскорее. Быки, оказалось, свернули со шляха неподалеку от толоки. На быстрой рыси Нагульнов следы их просмотрел. Он сообразил, что Титок направился через бугор напрямик в хутор Войсковой. «Должно быть, к кому-нибудь из знакомцев», – подумал, направляя по следам и сдерживая бег коня. На той стороне бугра, возле Мертвого буерака, заметил на снегу бычачий помет, остановился: помет был свежий, на нем только недавно изморозью, тончайшей пленкой лег ледок. Нагульнов нащупал в кармане полушубка холодную колодку нагана. В буерак спустился шагом. Еще с полверсты проехал и только тогда увидел неподалеку, за купой голых дубов, верхового и пару разналыганных быков. Верховой помахивал на быков налыгачем, горбился в седле. Из-за плеч его схватывался синий табачный дымок, таял навстречу.

– Поворачивай!

Титок остановил заржавшую кобылу, оглянулся, выплюнул сигарку и медленно заехал быкам наперед, негромко сказал:

– Что так? Тпру-у, гоф, стойте!

Нагульнов подъехал. Титок встретил его долгим взглядом.

– Ты куда направлялся?

– Быков продать хотел, Макар. Я не скрываюсь. – Титок высморкался. Рыжие, вислые, как у монгола, усы тщательно вытер рукавицей.

Они стояли, не спешиваясь, друг против друга. Лошади их с похрапом обнюхивались. Опаленное ветром лицо Нагульнова было разгорячено, зло. Титок внешне спокоен и тих.

– Завертай быков и гони домой! – приказал Нагульнов, отъезжая в сторону.

Одну минуту Титок колебался... Он перебирал поводья, нагнув дремотно голову, полукрыв глаза, и в своем сером домотканом зипуне с накинутым на рваный малахай капюшонном был похож на дремлющего ястреба. «Если у него под зипуном что-нибудь есть, то он сейчас расстегнет крючок», – думал Нагульнов, глаз не спуская с неподвижного Титка. Но тот, словно очнувшись, махнул налыгачем. Быки пошли своим следом обратно.

– Забирать будете? Раскулачивать? – после долгого молчания спросил Титок, сверкнув на Нагульнова из-под надвинутого на брови капюшона синими белками.

– Дожился! Гоню тебя, как пленного гада! – не выдержав, вскричал Нагульнов.

Титок поежился. До самого бугра молчал. Потом спросил:

– Меня куда будете девать?

– Вышлем. Это что у тебя под зипуном выпинается?

– Отрез. – Титок искоса глянул на Нагульнова, распахнул полу зипуна.

Из кармана сюртука белым мослом выглянула небрежно оструганная залапанная рукоять обреза.

– Дай-ка его мне. – Нагульнов протянул руку, но Титок спокойно отвел ее.

– Нет, не дам! – и улыбнулся, оголяя под вислыми усами черные, обкуренные зубы, глядя на Нагульнова острыми, как у хоря, но веселыми глазами. – Не дам! Имущество забираете, да еще отрез последний? Кулак должен быть с отрезом, так про него в газетах пишут. Беспременно чтобы с отрезом. Я, может, им хлеб насущный добывать буду, а? Селькоры мне без надобностей...

Он смеялся, покачивал головой, рук с луки не снимал, и Нагульнов не стал настаивать на выдаче обреза. «Там, в хуторе, я тебя обломаю», – решил он.

– Зачем, небось думаешь, Макар, он с отрезом поехал? – продолжал Титок. – Греха с ним... Он у меня черт-те с каких пор, тогда ишо принес с хохлячьего восстания, помнишь? Ну, лежит себе отрез, приржавел. Я его почистил, смазал, – чин чином, думаю, может, от зверя или от лихого человека сгодится. А вчера узнал, что вы собираетесь идти кулаков перетряхать... Только не смикитил я, что вы нонче тронетесь... А то бы я с быками-то ишо ночью командировался...

– От кого узнал?

– Ну вот, скажи ему! Слухом земля полная. Да-а-а, и обсоветовали ночью с бабой быков в надежные руки сдать. Отрез я с собой зацепил, хотел прихоронить в степе, чтобы не нашли случаем на базу, да прижалел, и ты – вот он! Так у меня под коленками и зашшекотало! – оживленно говорил он, насмешливо играя глазами, тесня коня Нагульнова грудью кобылицы.

– Ты шутики потом будешь шутить, Титок! А зараз построжей держись.

– Ха! Мне самое теперя и шутковать. Завоевал себе сладкую жизнь, справедливую власть оборонял, а она меня за хиршу...¹² – Голос Титка оборванно осекся.

С этого момента он ехал молча, нарочно придерживал кобылу, норовя пропустить Макара хоть на поллошади вперед, но тот из опаски тоже приотставал. Быки далеко ушли от них.

– Шевели, шевели! – говорил Нагульнов, напряженно посматривая на Титка, сжимая в кармане наган. Уж он-то знал Титка! Знал его, как никто. – Да ты не отставай! Стрельнуть ежели думаешь, все равно не придется, не успеешь.

– А ты пужливый стал! – улыбнулся Титок и, хлестнув коня налыгачем, поскакал вперед.

¹² *Хирша* – загривок.

Глава VII

Андрей Размётнов со своей группой пришел к Фролу Дамаскову, когда тот с семьей полудновал. За столом сидели: сам Фрол – маленький, тщедушный старичишка с клиноватой бородашкой и оторванной левой ноздрей (еще в детстве обезобразил лицо, падая с яблони, отсюда и прозвище Рваный), его жена, дородная и величественная старуха, сын Тимофей – парень лет двадцати двух и дочь – девка на выданье.

Похожий на мать, статный и красивый, из-за стола встал Тимофей. Он вытер тряпкой яркие губы под юношески пушистыми усами, сощурил наглые, навывкат, глаза и с развязностью лучшего в хуторе гармониста, девичьего любимца, указал рукой:

– Проходите, садитесь, дорогие властя!

– Нам садиться некогда. – Андрей достал из папки лист. – Собрание бедноты постановило тебя, гражданин Фрол Дамасков, выселить из дома, конфисковать все имущество и скот. Так что ты кончай, полуднуй и выгружайся из дому. Зараз мы произведем опись имущества.

– Это почему же такое? – Кинув ложку, Фрол встал.

– Уничтожаем тебя как кулацкий класс, – пояснил ему Демка Ушаков.

Фрол пошел в горницу, поскрипывая добротными, подшитыми кожей валенками, вынес оттуда бумажку.

– Вот справка, ты сам, Размётнов, ее подписывал.

– Какая справка?

– Об том, что я хлеб выполнил.

– Хлеб тут ни при чем.

– А за что же меня из дому выгонять и конфисковать?

– Беднота постановила, я же тебе пояснил.

– Таких законов нету! – резко крикнул Тимофей. – Вы грабильку устраиваете! Папаня, я зараз в рик поеду. Где седло?

– Ты в рик пеший пойдешь, ежели хочешь. Коня не дам. – Андрей присел к краю стола, достал карандаш и бумагу...

У Фрола синевой налился рваный нос, затряслась голова. Он как стоял, так и опустился на пол, с трудом шевеля распухшим почернелым языком.

– Ссук-ки-ны!.. Сукины сыны! Грабьте! Режьте!

– Папаня, встаньте, ради Христа! – заплакала девка, подхватывая отца под мышки.

Фрол оправился, встал, лег на лавку и уже безучастно слушал, как Демка Ушаков и высокий застенчивый Михаил Игнатенок диктуют Размётнову:

– Кровать железная с белыми шарами, перина, три подушки, ишо две кровати деревянных...

– Горка с посудой. И посуду всю говорить? Да ну ее под такую голень!

– Двенадцать стульев, одна длинная стула со спинкой. Гармония-трехрядка.

– Гармонь не дам! – Тимофей выхватил ее из рук Демки. – Не лезь, косоглазый, а то нос расшибу!

– Я тебе так расшибу, что и мать не отмоет!

– Ключи от сундуков давай, хозяйка.

– Не давайте им, маманя! Нехай ломают, ежели такие права у них есть!

– Есть у нас права ломать? – оживляясь, спросил Демид Молчун, известный тем, что говорил только при крайней необходимости, а остальное время молча работал, молча курил с казаками, собравшимися в праздник на проулке, молча сидел на собраниях и, обычно только изредка отвечая на вопросы собеседника, улыбался виновато и жалостно.

Распахнутый мир был полон для Демиды излишне громких звуков. Они наливали жизнь до краев; не затихая и ночью, мешали прислушиваться к тишине, нарушали то мудрое молчание, которым полны бывают степь и лес под осень. Не любил Демид людского гомона. Жил он на отшибе в конце хутора, был работающим и по силе первым во всей округе. Но как-то пятнила его судьба обидами, обделяла, как пасынка... Он пять лет жил у Фрола Дамаскова в работниках, потом женился, отошел на свое хозяйство. Не успел обстроиться – погорел. Через год еще раз пожар оставил ему на подворье одни пахнувшие дымом сохи. А вскоре ушла жена, заявив: «Два года жила с тобой и двух слов не слыхала. Нет уж, живи один! Мне в лесу с бирюком и то веселей будет. Тут с тобой и умом тронешься. Сама с собой уж начала я гутарить...»

А ведь было привыкла к Демиду баба. Первые месяцы, правда, плакала, приставала к мужу: «Демидушка! Ты хоть погутарь со мной. Ну, скажи словцо!» Демид только улыбался тихой ребячьей улыбкой, почесывая волосатую грудь. А когда уж становилось невтерпех от докучаний жены, нутряным басом говорил: «Чисто сорока ты!» – и уходил. Демиду почему-то окрестила молва человеком гордым и хитрым, из тех, что «себе на уме». Может быть, потому, что всю жизнь дичился он шумоватых людей и громкого звука?

Поэтому-то Андрей и вскинул голову, заслышав над собой глухой гром Демидова голоса.

– Права? – переспросил он, смотря на Молчуна так, как будто увидел его впервые. – Есть права!

Демид, косолапо ступая, грязня пол мокрыми, изношенными чириками, пошел в горницу. Улыбаясь, легко, как ветку, отодвинул рукой стоявшего в дверях Тимофея и – мимо горки с жалобно зазвеневшей под его шагами посудой – к сундуку. Присел на корточки, повертел в пальцах увесистый замок. Через минуту замок со сломанной шейкой лежал на сундуке, а Аркашка Менок, с нескрываемым изумлением оглядывая Молчуна, восхищенно воскликнул:

– Вот бы с кем поменяться силенкой!

Андрей не успевал записывать. Из горницы, из зала Демка Ушаков, Аркашка и тетка Василиса – единственная женщина в Андреевой группе – наперебой разноголосо выкрикивали:

– Шуба бабья, донская!

– Тулуп!

– Три пары новых сапог с калошами!

– Четыре отреза сукна!

– Андрей! Резмётнов! Тут, парнище, товару на воз не заберешь! И ситцу, и сатин черный, и всякая иная...

Направившись в горницу, Андрей услышал из сеней девичьи причитания, крик хозяйки и урезонивающий голос Игнатенка. Андрей распахнул дверь:

– В чем тут у вас?

Опухшая от слез курносая хозяйская дочь ревела белугой, прислонясь к двери. Возле нее металась и кудахтала мать, а Игнатенок, весь красный, смущенно улыбаясь, тянул девку за подол.

– Ты чего тут?! – Андрей, не разобрав, в чем дело, задохнулся от гнева, с силой толкнул Игнатенка. Тот упал на спину, задрал длинные ноги в валяных опорках. – Тут кругом политика! Наступление на врага, а ты девок по углам лапашешь?! А под суд за...

– Да ты постой, погоди! – Игнатенок испуганно вскочил с пола. – На кой она мне... снилась! Лапать ее! Ты погляди, она на себя девятую юбку натягивает! Я не допускаю к тому, а ты – пихаться...

Тут только Андрей доглядел, что девка, под шумок вытащившая из горницы узел с нарядами, и в самом деле уже успела натянуть на себя ворох шерстяных платьев. Она, забившись в угол, одергивала подол, странно неповоротливая, кургузая от множества стеснявших движения одежин. Андрею стали противны и жалки ее мокрые, красные, как у кролика, глаза. Он хлопнул дверью, сказал Игнатенку:

– Не моги ее телешить! Что успела одеть – черт с ней, а узел заberi.

Опись находившегося в доме имущества подходила к концу.

– Ключи от амбара, – потребовал Андрей.

Фрол, черный, как обугленный пенёк, махнул рукой:

– Нету ключей!

– Иди ломай, – приказал Андрей Демиду.

Тот направился к амбару, по пути выдернув из арбы шкворень.

Пятифунтовый замок-гирю с трудом одолели топором.

– Ты притолоку-то не руби! Наш теперя амбар, ты по-хозяйски. Легше! Легше! – советовал сопевшему Молчуну Демка.

Начали перемерять хлеб.

– Может, его зараз и подсеём? Вон в сусеке грохот¹³ лежит, – предложил опьяневший от радости Игнатенок.

Его высмеяли и долго еще шутили, насыпая в меры тяжеловесную пшеницу.

– Тут ишо можно на хлебозаготовку пудов двести ссыпать, – по колено бродя в зерне, говорил Демка Ушаков. Он кидал пшеницу лопатой к выгребу закрома, хватал ее рукой, цедил сквозь пальцы.

– По пульке дюже должна заважить.

– Куда там! Червонного золота пашеница, только, видать, в земле была: видишь, тронутая.

Аркашка Менок и еще один парень из группы хозяйничали на базу. Аркашка поглаживал русую бороду, указывал на бычий помёт с торчавшими из него неперевавленными зёрнами кукурузы:

– Как же им не работать? Хлеб чистый едят, а у нас в товариществе и сенца в натруску.

Из амбара неслись оживленные голоса, хохот, пахучая хлебная пыль, иногда крепко присоленное слово... Андрей вернулся в дом. Хозяйка с дочерью собрали в мешок чугуны и посуду. Фрол, по-покойнически скрестив на груди пальцы, лежал на лавке уже в одних чулках. Присмиривший Тимофей взглянул ненавидяще, отвернулся к окну.

В горнице Андрей увидел сидевшего на корточках Молчуна. На нем были новые, подшитые кожей Фроловы валенки... Не видя вошедшего Андрея, он черпал столовой ложкой мед из ведерного жестяного бака и ел, сладко жмурясь, причмокивая, роняя на бороду желтые тянкие капли...

¹³ Грохот – большое решето.

Глава VIII

Нагульников с Титком вернулись в хутор уже в полдень. За время их отсутствия Давыдов описал имущество в двух кулацких хозяйствах, выселил самих хозяев, потом вернулся к Титку во двор и совместно с Любишкиным перемерил и взвесил хлеб, найденный в кизячнике. Дед Щукарь положил в ясли объедья овцам и проворно пошел от овечьего база, увидев подходившего Титка.

Титок ходил по двору в распахнутом зипуне, с обнаженной головой. Он было направился к гумну, но Нагульников крикнул ему:

– Воротись зараз же, а то в амбар запру!..

Он был зол, взволнован, сильнее обычного подергивалась его щека... Просмотрел он, как и где успел Титок выбросить обрез. Но только когда подъехали к гумну, Нагульников спросил:

– Отрез-то отдашь? А то ведь отымем.

– Брось шутить! – Титок заулыбался. – Тебе он, должно, привиделся?..

Не оказалось обреза у него и под зипуном. Ехать назад искать было бессмысленно: в глубоком снегу, в бурьянах все равно не найти. Нагульников, злобясь на себя, рассказал об этом Давыдову, и тот, все время с любопытством присматривавшийся к Титку, подошел к нему:

– Ты оружие-то отдай, гражданин! Так оно тебе спокойнее будет.

– Не было у меня оружия! Нагульников это по насердке на меня. – Титок улыбнулся, играя хориными глазами.

– Ну что ж, придется тебя арестовать и отправить в район.

– Меня-то?

– Да, тебя. А ты думал как? Будем считаться с твоим прошлым! Ты хлеб укрываешь, готовишь...

– Меня?.. – согнувшись, как для прыжка, со свистом дыша, повторил Титок.

Вся наигранная веселость, самообладание, сдержанность – все покинуло его в этот момент. Слова Давыдова были толчком к взрыву накопившейся и сдерживаемой до этого лютой злобы. Он шагнул к попятившемуся Давыдову, споткнулся о лежавшее посреди двора ярмо и, нагнувшись, вдруг выдернул железную занозу¹⁴. Нагульников и Любишкин кинулись к Давыдову. Дед Щукарь побежал со двора. Он, как назло, запутался в чрезмерно длинных полах своей шубы, упал, дико взывая:

– Ка-ра-а-ул, люди добрые! Убивают!

Титок, схваченный Давыдовым за кисть левой руки, правой успел нанести ему удар по голове. Давыдов качнулся, но на ногах устоял. Кровь из рассеченной раны густо хлынула ему в глаза, ослепила. Давыдов выпустил руку Титка, шатаясь, закрыл ладонью глаза. Второй удар повалил его на снег. В этот-то момент Любишкин и обхватил Титка поперек. Он не удержал его, несмотря на свою немалую силу. Вырвавшись у него из рук, Титок прыжками побежал к гумну. У ворот его догнал Нагульников, рукоятью нагана стукнул по плоскому густоволосому затылку. Сумятицу усугубила Титкова баба. Видя, что к мужу бегут Любишкин и Нагульников, она метнулась к амбару, спустила с цепи кобеля. Тот, гремя железным ошейником, намётом околесил двор и, привлеченный испуганными криками деда Щукаря, его распластанной на снегу шубой, надел на него... Из белой шубы с треском и пылью полетели лоскуты, овчинные клочья. Дед Щукарь вскочил, неистово брыкая кобеля ногами, пытаясь выломать из плетня кол. Он сажени две протасил на своей спине вцепившегося

¹⁴ Заноза – стержень, который замыкает шею вола в ярме.

в воротник разъяренного цепняка, качаясь под его могучими рывками. Наконец отчаянным усилием ему удалось выдернуть кол. Кобель с воем отскочил, успев-таки напоследок распу-стить дедову шубу надвое.

– Дай мне ливольверт, Макар!.. – вылупив глаза, горловым голосом заорал ободрив-шийся дед Щукарь. – Дай, пока сердце горит! Я его вместе с хозяйкой жизни ррре-шу!..

Тем временем Давыдову помогли войти в курень, выстригли волосы вокруг раны, из которой все еще сочилась, пузырясь, черная кровь. Во дворе Любишкин запрягал в пароконные сани Титковых лошадей. Нагульников за столом бегло писал:

Районному уполномоченному ГПУ т. Захарченке. Препровождаю в ваше распоряжение кулака Бородин Тита Константиновича, как контрреволюционный гадский элемент. При описании имущества у этого кулака он официально произвел нападение на присланного двадцатипяти тысячника т. Давыдова и смог его два раза рубануть по голове железной занозой.

*Кроме этого, заявляю, что видел у Бородина винтовочный отрез русского образца, который не мог отобрать по причине условий, находясь на бугре и опасаясь кровопролития. Отрез он незаметно выкинул в снег. При отыскании доставим к вам как вещественность.
Секретарь гремяченской ячейки ВКП(б)
и краснознаменец М. Нагульников.*

Титка посадили в сани. Он попросил напиться и позвать к нему Нагульнова. Тот с крыльца крикнул:

– Чего тебе?

– Макар! Помни! – потрясая связанными руками, как пьяный, закричал Титок. – Помни: наши путя схлестнутся! Ты меня топтал, а уж тогда я буду. Все одно – убью! Могила на нашу дружбу!

– Езжай, контра! – Нагульников махнул рукой.

Лошади резво взяли со двора.

Глава IX

Уже перед вечером Андрей Размётнов распустил работавшую с ним группу содействия из бедноты, отправил со двора раскулаченного Гаева последнюю подводу конфискованного имущества к Титку, куда свозили все кулацкие пожитки, пошел в сельсовет. Утром он условился с Давыдовым встретиться там за час до общего собрания, которое должно было начаться с наступлением темноты.

Андрей еще из сенцев увидел в угловой комнате сельсовета свет, вошел, широко откинув дверь. На стук Давыдов поднял от записной книжки перевязанную белым лоскутом голову, улыбнулся:

– Вот и Размётнов. Садись, мы подсчитываем, сколько обнаружено у кулаков хлеба. Ну, как у тебя, прошло?

– Прошло... Что это ты обвязал голову?

Нагульников, мастеровый из газетного листа абажур на лампу, неохотно сказал:

– Это его Титок. Занозой. Отослал я Титка к Захарченке в ГПУ.

– Подожди, сейчас расскажем. – Давыдов подвинул по столу счеты. – Клади сто пятьдесят. Есть? Сто восемь...

– Постой! Постой! – встревоженно забормотал Нагульников, осторожно толкая пальцем колесики счетов.

Андрей посмотрел на них и, задрожав губами, глухо сказал:

– Больше не работаю.

– Как не работаешь? Где? – Нагульников отложил счеты.

– Раскулачивать больше не пойду. Ну, чего глаза вылупил? В припадок вдариться хочешь, что ли?

– Ты пьяный? – Давыдов с тревогой внимательно всмотрелся в лицо Андрея, исполненное злой решимости. – Что с тобой? Что значит – не будешь?

От его спокойного тенора Андрей взбесился, заикаясь, в волнении закричал:

– Я не обучен! Я... Я... с детишками не обучен воевать!.. На фронте – другое дело! Там любому шашкой, чем хочешь... И катитесь вы под разэтакую!.. Не пойду!

Голос Андрея, как звук натягиваемой струны, поднимался все выше, выше, и казалось, что вот-вот он оборвется. Но Андрей, с хрипом вздохнув, неожиданно сошел на низкий шепот:

– Да разве это дело? Я что? Кат, что ли? Или у меня сердце из самородка? Мне война влилась... – И опять перешел на крик: – У Гаева детей одиннадцать штук! Пришли мы – как они взбюжались, шапку схватывает! На мне ажник волос ворохнулся! Зачали их из куреня выгонять... Ну, тут я глаза зажмурил, уши заткнул и ушел за баз! Бабы – по-мертвому, водой отливали сноху... детей... Да ну вас в господу бога!..

– Ты заплачь! Оно полегшает, – посоветовал Нагульников, ладонью плотно, до отека, придавив дергающийся мускул щеки, не сводя с Андрея загоревшихся глаз.

– И заплачу! Я, может, своего парнишку... – Андрей осекся, оскалив зубы, круто повернулся к столу спиной.

Стала тишина.

Давыдов поднимался со стула медленно... И так же медленно крылась трупной синевой одна незавязанная щека его, бледнело ухо. Он подошел к Андрею, взял за плечи, легко повернул. Заговорил, задыхаясь, не сводя ставшего огромным глаза с Андреева лица.

– Ты их жалеешь... Жалко тебе их. А они нас жалели? Враги плакали от слез наших детей? Над сиротами убитых плакали? Ну? Моего отца уволили после забастовки с завода, сослали в Сибирь... У матери нас четверо... мне, старшему, девять лет тогда... Нечего

было кушать, и мать пошла... Ты смотри сюда! Пошла на улицу мать, чтобы мы с голоду не подошли! В комнатуху нашу – в подвале жили – ведет гостя... Одна кровать осталась... А мы за занавеской... на полу... И мне девять лет... Пьяные приходили с ней... А я зажимаю маленьким сестренкам рты, чтобы не ревели... Кто наши слезы вытер? Слышишь, ты?... Утром беру этот проклятый рубль... – Давыдов поднес к лицу Андрея свою закожаневшую ладонь, мучительно заскрипел зубами, – мамой заработанный рубль, и иду за хлебом... – И вдруг, как свинчатку, с размаху кинул на стол черный кулак, крикнул: – Ты!! Как ты можешь жалеть?!

И опять стала тишина. Нагульнов вкогтился в крышку стола, держал ее, как коршун добычу. Андрей молчал. Тяжело, всхлипами дыша, Давыдов с минуту ходил по комнате, потом обнял Андрея за плечи, вместе с ним сел на лавку, надтреснутым голосом сказал:

– Эка, дурило ты! Пришел и ну давай орать: «Не буду работать... дети... жалость...» Ну, что ты наговорил, ты опомнись! Давай потолкуем. Жалко стало, что выселяют кулацкие семьи? Подумаешь! Для того и выселяем, чтобы не мешали нам строить жизнь, без таких вот... чтобы в будущем не повторялось... Ты – Советская власть в Гремячем, а я тебя должен еще агитировать? – и с трудом, натужно улыбнулся. – Ну, выселим кулаков к черту, на Соловки выселим. Ведь не подохнут же они? Работать будут – кормить будем. А когда построим, эти дети уже не будут кулацкими детьми. Рабочий класс их перевоспитает. – Достал пачку папирос и долго дрожащими пальцами никак не мог ухватить папиросу.

Андрей неотрывно смотрел в лицо Нагульнова, одевавшееся мертвенной пленкой. Неожиданно для Давыдова он быстро встал, и тотчас же, как кинутый трамплином, подпрыгнул Нагульнов.

– Гад! – выдохнул звенящим шепотом, стиснув кулаки. – Как служишь революции? Жале-е-ешь? Да я... тысячи станови зараз дедов, детишков, баб... Да скажи мне, что надо их в распыл... Для революции надо... Я их из пулемета... всех порежу! – вдруг дико закричал Нагульнов, и в огромных, расширенных зрачках его плеснулось бешенство, на углах губ вскипела пена.

– Да не кричи ты! Сядь! – встревожился Давыдов.

Андрей, опрокинув стул, торопливо шагнул к Нагульнову, но тот, прислонясь к стенке, запрокинув голову, с закатившимися глазами, пронзительно, протяжно закричал:

– Зарублю-у-у-у!.. – а сам уже валился на бок, левой рукой хватая воздух в поисках ножен, правой судорожно шаря невидимый эфес шашки.

Андрей успел его подхватить на руки, чувствуя, как страшно напряглись все мускулы отяжелевшего Макарова тела, как стальной пружиной распрямились ноги.

– Припадок... Ноги ему держи!.. – успел Андрей крикнуть Давыдову.

* * *

В школу они пришли, когда там уже битком набился пришедший на собрание народ. Помещение не могло вместить всех. Казаки, бабы и девки густо стояли в коридоре, на крыльце. Из жерла настежь распахнутых дверей вылетал пар, мешаясь с табачным дымом.

Нагульнов, бледный, с запекшейся на разбитых губах кровью, шел по коридору первым. Под отчетливым шагом его похрустывала подсолнечная лузга. Казаки сдержанно поглядывали на него, расступаясь. Зашептали, увидя Давыдова.

– Это и есть Давыдов? – громко спросила девка в цветастой шальке, указывая на Давыдова носовым платком, туго набитым семечками.

– В пальте... А сам небольшой.

– Небольшой, а маштаковатый, гля, у него шеяка, как у доброго бугая! К нам для приплоду прислали, – засмеялась одна, шуря на Давыдова круглые серые глаза.

– А он в плечах просторный, тысячник-то. Этот небось обнимет, девоньки, – беззастенчиво говорила Наталья-жалмерка, поводя подкрашенной бровью.

Грубоватый, прокуренный голос парня язвительно сказал:

– Нашей Наталке-давалке лишь бы в штанах...

– Голову ему уж наклевали никак? Перевязанный...

– Это от зубов небось...

– Не. Титок...

– Девки! Лапушки! И чего вы на приезжего человека гляделки вылупили? Ай у меня хуже? – Немолодой, выбритый досиза казак, хохоча, обхватил длинными руками целый табун девок, прижал их к стене.

Поднялся визг. По спине казака гулко забарабанили девичьи кулаки.

Давыдов вспотел, пока добрался до классных дверей. Толпа пахуче дышала подсолнечным маслом семечек, луком, махрой, пшеничной отрыжкой. От девок и молодых баб несло пряным запахом слежалых в сундуках нарядов, помадой. Глухой пчелиный гул стоял в школе. Да и сами люди шевелились черным кипящим клубом, похожим на отроившийся пчелиный рой.

– Лихие у вас девки, – смущенно сказал Давыдов, когда взбирались на сцену.

На сцене, сбитой из шалевок, стояли две сдвинутые ученические парты. Давыдов с Нагульновым сели. Размётнов открыл собрание. Президиум выбрали без задержки.

– Слово о колхозе предоставляется товарищу уполномоченному райкома партии Давыдову. – Голос Размётнова смолк, и, резко убывая, пошел на отлив прибойный гул разговоров.

Давыдов встал, поправил на голове повязку. Он с полчаса говорил под конец осипшим голосом. Собрание молчало. Все ощутимей становилась духота. При тусклом свете двух ламп Давыдов видел лоснящиеся от пота лица в первых рядах, дальше все крылось полусумраком. Его ни разу не прервали, но, когда он кончил и потянулся к стакану с водой, ливнем хлынули вопросы:

– Все надо обобществлять?

– А дома?

– Это на время колхоз аль на вечность?

– Что единоличникам будет?

– Землю не отнимут у них?

– А жрать вместе?

Давыдов долго и толково отвечал. Когда дело касалось сложных вопросов сельского хозяйства, ему помогали Нагульнов и Андрей. Был прочитан примерный устав, но, несмотря на это, вопросы не прекращались. Наконец из средних рядов поднялся казак в лисьем треухе и настезь распахнутом черном полушубке. Он попросил слова. Висячая лампа кидала косой свет на лисий треух, рыжие ворсины вспыхивали и словно дымились.

– Я середняк-хлебороб, и я так скажу, граждане, что оно, конечно, слов нет, дело хорошее колхоз, но тут надо дюже подумать! Так нельзя, чтобы – тят-ляп, и вот тебе кляп, на – ешь, готово. Товарищ уполномоченный от партии говорил, что, дескать, просто сложитесь силами и то выгода будет. Так, мол, даже товарищ Ленин говорил. Товарищ уполномоченный в сельском хозяйстве мало понимает, за плугом он, кубыть, не ходил по своей рабочей жизни и небось к быку не знает, с какой стороны надо зайти. Через это трошки и промахнулся. В колхоз надо, по-моему, людей так сводить: какие работающие и имеют скотину – этих в один колхоз, бедноту – в другой, зажиточных – само собой, а самых лодырей на высылку, чтобы их ГПУ научила работать. Людей мало в одну кучу свалить, толку один черт не будет: как в сказке – лебедь крылами бьет и норовит лететь, а рак его за гузно взял и тянет обратно, а щука – энта начертилась, в воду лезет...

Собрание отозвалось сдержанным смешком. Позади резко визгнула девка, и тотчас же чей-то возмущенный голос заорал:

– Вы там, которые слабые! Шшупаться можно и на базу. Долой отседова!

Хозяин лисьего треуха вытер платочком лоб и губы, продолжал:

– Людей надо так подбирать, как добрый хозяин быков. Ить он же быков подбирает ровных по силам, по росту. А запряги разных, что оно получится? Какой посильней – будет заламывать, слабый станет, а через него и сильному бесперечь надо становиться. Какая же с них работа? Товарищ гутарил: всем хутором в один колхоз, окромя кулаков... Вот оно и получится! Тит да Афанас, разымите нас!..

Любишкин встал, недобро пошевелил раскрылатившимся черным усом, повернулся к говорившему.

– До чего ты, Кузьма, иной раз сладко да хорошо гутаришь! Бабой был бы – век тебя слушал! (Зашелестел смешок.) Ты собрание уговариваешь, как Палагу Кузьмичеву...

Хохот грохнул залпом. Из лампы по-змеиному метнулось острое жало огня. Всему собранию был понятен намек, вероятно содержащий в себе что-то непристойно-веселое. Даже Нагульнов и тот улыбнулся глазами. Давыдов только хотел спросить у него о причине смеха, как Любишкин перекричал гул голосов:

– Голос-то – твой, песня – чужая! Тебе хорошо так людей подбирать. Ты этому, должно, научился, когда у Фрола Рваного в машинном товариществе состоял? Двигатель-то у вас в прошлом году отняли. А зараз мы и Фрола твоего растребушили с огнем и с дымом! Вы собрались вокруг Фролова двигателя, тоже вроде колхоз, кулацкий только. Ты не забыл, сколько вы за молотьбу драли? Не восьмой пуд? Тебе бы, может, и зараз так хотелось: приклониться к богатеньким...

Такое поднялось, что насилу удалось Размётнову водворить порядок. И еще долго остервенело – вешним градом – сыпалось:

– То-то артельно вы нажили!

– Вшей одних трактором не подавишь!

– Сердце тебе кулаки запекли!

– Лизни его!

– Твоей головой бы подсолнух молотить!

Очередное слово выпросил маломощный середняк Николай Люшня.

– Ты без прений. Тут дело ясное, – предупредил его Нагульнов.

– То есть как же? А может, я именно возопреть желаю? Или мне нельзя супротив твоего мления гутарить? Я так скажу: колхоз – дело это добровольное, хочешь – иди, хочешь – со стороны гляди. Так вот мы хотим со стороны поглядеть.

– Кто это «мы»? – спросил Давыдов.

– Хлеборобы то есть.

– Ты за себя, папаша, говори. У всякого язык не купленный, скажет.

– Могу и за себя. То есть за себя даже и гутарю. Я хочу поглядеть, какая она в колхозе, жизнь, разыграет. Ежели хорошая – впишусь, а нет – так чего же я туда полезу? Ить это рыба глупая, лезет в вентерья...

– Правильно!

– Погодим вступать!

– Нехай спробуют другие новую жизнь!

– Лезь амором!¹⁵ Чего ее пробовать, девка она, что ли?

– Слово предоставляется Ахваткину. Говори.

¹⁵ Амором – быстро.

– Я про себя, дорогие граждане, скажу: вот мы с родным братом, с Петром, жили вместе. Ить не ужились! То бабы промеж себя заведутся, водой не разольешь, за виски растягивали, то мы с Петром не заладим. А тут весь хутор хотят в мала-кучу свалить! Да тут неразбери-поймешь получится. Как в степь выедем пахать, беспрерывно драка. Иван моих быков перегнал, а я его коней недоглядел... Тут надо милиции жить безысходно. У каждого полон рот юшки будет. Один больше сработает, другой меньше. Работа наша разная, это не возля станка на заводе стоять. Там отдежурил восемь часов – и тростку в зубы, пошел...

– Ты на заводе был когда-нибудь?

– Я, товарищ Давыдов, не был, а знаю.

– Ничего ты не знаешь о рабочем! А если не был, не видел, чего же ты трепещь языком! Кулацкие разговоры насчет рабочего с тросточкой!

– Ну, хучь и без тросточки: отработал – иди. А у нас, ишо темно – встаешь, пашешь. До ночи сорок потов с тебя сойдут, на ногах кровавые волдыри с куриное яйцо, а ночью быков паси, не спи: не нажрется бык – не потянет плуг. Я буду стараться в колхозе, а другой, вот как наш Колыба, будет на борозде спать. Хотя и говорит Советская власть, что лодырей из бедноты нету, что это кулаки выдумали, но это неправда. Колыба всю жизнь на пече лежал. Весь хутор знает, как он одну зиму на пече так-то спасался, ноги к двери протянул. К утру ноги у него инеем оделись, а бок на кирпичине сжег. Значится, человек до того обленился, что с печки и по надобности до ветру встать не может. Как я с таким буду работать? Не подписуюсь на колхоз.

– Слово предоставляется Кондрату Майданникову. Говори.

Из задних рядов долго пробирался к сцене невысокий, в сером зипуне, казак. Выцветший шишак буденновки покачивался над папахами и треухами, над разноцветьем бабьих шалек и платков.

Подошел, стал спиной к президиуму, неторопливо полез в карман шаровар.

– Читать будешь речь? – спросил Демка Ушаков, улыбаясь.

– Шапку сыми!

– Валяй наизусть!

– Этот всю жизнь свою на бумагу записывает.

– Ха-ха! Гра-а-амот-ный!..

Майданников достал засаленную записную книжонку, торопливо стал искать исчерченные каракулями странички.

– Вы погодите смеяться, может, плакать придется!.. – заговорил он сердито. – Да, записываю, над чем кормлюсь. И вот зараз прочту вам. Тут разные были голоса, и ни одного путного. Об жизни мало думаете...

Давыдов насторожился. В передних рядах завиднелись улыбки. Рябью – голоса по школе.

– Мое хозяйство середняцкое, – не смущаясь, уверенно начал Майданников. – Сеял я в прошлом году пять десятин. Имею, как вам известно, пару быков, коня, корову, жену и троих детей. Рабочие руки – вот они, одни. С посева собрал: девяносто пудов пшеницы, восемнадцать жита и двадцать три овса. Самому надо шестьдесят пудов на прокорм семьи, на птицу надо пудов десять, овес коню остается. Что я могу продать государству? Тридцать восемь пудов. Клади кругом по рублю с гривенником, получится сорок один рубль чистого дохода. Ну, птицу продам, утей отвезу в станицу, выручу рублей пятнадцать. – И, тоскуя глазами, повысил голос: – Можно мне на эти деньги обуться, одеться, гасу, серников¹⁶, мыла купить? А коня на полный круг подковать деньги стоят? Чего же вы молчите? Можно мне так дальше жить? Да ить это хорошо, бедный ли, богатый урожай. А ну, хлоп – неурожай?

¹⁶ Гас, серники – керосин, спички.

Кто я тогда? Старец!¹⁷ Какое ж вы, вашу матушку, имеете право меня от колхоза отговаривать, отпихивать? Неужели мне там хуже этого будет? Брешете! И всем вам так, какие из середняков. А через чего вы супротивничаете и себе и другим головы морочите, зараз скажу.

– Сыпь им, сукиным котам, Кондрат! – в восторге заорал Любишкин.

– И всыплю, нехай почухаются! Через то вы против колхоза, что за своей коровой да за своим скворешником-двором белого света не видите. Хоть сопливое, да мое. Вас ВКП пихает на новую жизнь, а вы как слепой телок: его к корове под сиську ведут, а он и ногами брыкается, и головой мотает. А телку сиську не сосать – на белом свете не жить! Вот и всё. Я нынче же сяду заявление в колхоз писать и других к этому призываю. А кто не хочет – нехай и другим не мешает.

Размётнов встал:

– Тут дело ясное, граждане! Лампы у нас тухнут, и время позднее. Подымайте руки, кто за колхоз. Одни хозяева дворов подымают.

Из двухсот семнадцати присутствовавших домохозяев руки подняли только шестьдесят семь.

– Кто против?

Ни одной руки не поднялось.

– Не хотите записываться в колхоз? – спросил Давыдов. – Значит, верно товарищ Майданников говорил?

– Не жа-ла-ем! – гундосый бабий голос.

– Нам твой Майданников не указ!

– Отцы-деды жили...

– Ты нас не силуй!

И когда уже замолкли выкрики, из задних рядов, из темноты, озаряемой вспышками сигарок, чей-то запоздалый, пронзенный злостью голос:

– Нас нечего загонять дуриком! Тебе Титок раз кровь пустил, и ишо можно...

Будто плетью Давыдова хлестнули. Он в страшной тишине с минуту стоял молча, бледнея, полураскрыв щербатый рот, потом хрипло крикнул:

– Ты! Вражеский голос! Мне мало крови пустили! Я еще доживу до той поры, пока таких, как ты, всех угробим. Но, если понадобится, я за партию... я за свою партию, за дело рабочих всю кровь отдам! Слышишь, ты, кулацкая гадина? Всю, до последней капли!

– Кто это шумнул? – Нагульнов выпрямился.

Размётнов соскочил со сцены. В задних рядах хрястнула лавка, толпа человек в двадцать с шумом вышла в коридор. Стали подниматься и в середине. Хрунуло, звякнуло стекло: кто-то выдавил оконный глазок. В пробоину хлынул свежий ветер, смерчем закружился белый пар.

– Это, никак, Тимошка шумнул! Фрола Рваного...

– Выселить их из хутора!

– Нет, это Акимка! Тут с Тубянского есть казаки.

– Смутители, язвы их в жилу. Выгнать!..

Далеко за полночь кончилось собрание. Говорили и за колхоз и против до хрипоты, до помрачения в глазах. Кое-где и даже возле сцены противники сходились и брали один другого за грудки, доказывая свою правоту. На Кондрате Майданникове родной кум его и сосед порвал до пупка рубаху. Дело чуть не дошло до рукопашной. Демка Ушаков уже было кинулся на подмогу Кондрату, прыгая через лавки, через головы сидевших, но кумовьев развел Давыдов. И Демка же первый съязвил насчет Майданникова:

– А ну, Кондрат, прикинь мозгой, сколько часов пахать тебе за порватую рубаху?

¹⁷ *Старец* – нищий.

– Посчитай ты, сколько у твоей бабы...

– Но-но! Я за такие шутки с собрания буду удалять.

Демид Молчун мирно спал под лавкой в задних рядах, по-звериному лежа головой на ветер, тянувший из-под дверей, – укутав голову от излишнего шума полой зипуна. Пожилые бабы, и на собрание пришедшие с недовязанными чулками, дремали, как куры на шестке, роняя клубки и иголки. Многие ушли. И когда неоднократно выступавший Аркашка Менок хотел было еще что-то сказать в защиту колхоза, то из горла его вырвалось нечто похожее на гусиное ядовитое шипенье. Аркашка помял кадык, горько махнул рукой, но все же не вытерпел и, садясь на место, показал ярому противнику колхоза, Николаю Ахваткину, что с ним будет после сплошной коллективизации: на обкуренный ноготь большого пальца положил другой ноготь и – хруп! Николай только плюнул, шепотом матерясь.

Глава X

Кондрат Майданников шел с собрания. Над ним вверху непогасшим костром тлели Стожары. Было так тихо, что издалека слышались трески лопающейся от мороза земли, шорох зябнувшей ветки. Дома Кондрат зашел на баз к быкам, подложил им в ясли скудную охапку сена; вспомнив, что завтра вести их на общий баз, набрал огромное беремея сена, вслух сказал:

– Ну, вот и расставанье подошло... Подвинься, лысый! Четыре года мы, казак на быка, а бык на казака, работали... И путного у нас ничего не вышло. И вам впроголодь, и мне скушновато. Через это и меняю вас на общую жизнь. Ну, чего разлопушился, будто и на самом деле понимаешь? – Он толкнул ногой бороздённого быка, отвел рукой его жующую слюнявую пасть и, встретившись глазами с лиловым бычачьим глазом, вдруг вспомнил, как ждал он этого быка пять лет назад. Старая корова тогда приняла бугая так скрыто, что ни пастух, ни Кондрат не видели. Осенью долго не было заметно по ней, что она огулялась. «Яловой осталась, проклятая!» – холодел Кондрат, поглядывая на корову. Но она започинала в конце ноября, как и все старые коровы, – за месяц перед отелом. Сколько раз к концу филипповок, холодными ночами Кондрат просыпался, как от толчка, и, всунув ноги в валенки, в одних подштанниках бежал на теплый баз смотреть: не отелилась ли? Давили морозы, телок мог замерзнуть, едва лишь облизала бы его мать... Под исход поста Кондрат почти не спал. Как-то Анна, жена его, утром вошла повеселевшая, даже торжественная:

– Старая жилы уж отпустила. Должно, ночью будет.

Кондрат прилег с вечера, не раздеваясь, не гася огня в фонаре. Семь раз вышел он к корове! И только на восьмой, уже перед светом, еще не открыв дверцы на коровий баз, услышал глубокий и трудный стон, вошел: корова опрастывалась от последа, а крохотный белоноздрый телок, уже облизанный, шершавый, жалко дрожащий, искал похолодевшими губами вымя. Кондрат схватил выпавший послед, чтобы корова его не съела¹⁸, а потом поднял телка на руки и, отогревая его теплом своего дыхания, кутая в полу зипуна, на рыси понес в хату.

– Бык! – обрадованно воскликнул он.

Анна перекрестилась:

– Слава тебе господи! Оглянулся, милостивец, на нашу нужду!

А нужды с одной лошаденкой хватнул Кондрат по ноздри. И вот вырос бык и добре работал на Кондрата, летом и в зимнюю стужу, бесчисленное количество раз переставляя свои клешнятые копыта по дорогам и пашням, волоча плуг или арбу.

Кондрат, глядя на быка, вдруг почувствовал острый комок в горле, резь в глазах. Заплакал и пошел с база, как будто облегченный прорвавшейся слезой. Остальцы ночи не спал, курил.

...Как будет в колхозе? Всякий ли почувствует, поймет так, как понял он, что путь туда – единственный, что это – неотвратимо? Что как ни жалко вести и кинуть на общие руки худобу, выросшую вместе с детьми на земляном полу хаты, а надо вести. И подлюку жалость эту к своему добру надо давить, не давать ей ходу к сердцу... Об этом думал Кондрат, лежа рядом с похрапывающей женой, глядя в черные провалы темноты невидящими, ослепленными темнотой глазами. И еще думал: «А куда же ягнят, козлят сведем? Ить им хата теплая нужна, большой догляд. Как их, враженья, разбирать, ежели они все почти одинаковые? Их и матеря будут путать, и люди. А коровы? Корма как свозить? Потеряем сколько! Что,

¹⁸ На Верхнем Дону широко было распространено поверье, что, если корова съест послед, молоко нельзя употреблять двенадцать суток. (Прим. автора.)

если разбредутся люди через неделю же, испугавшись трудного? Тогда – на шахты, кинув Гремячий на всю жизнь. Не при чем жить остается».

Перед светом он забылся в дреме. И во сне ему было трудно и тяжело. Нелегко давался Кондрату колхоз! Со слезой и с кровью рвал Кондрат пуповину, соединявшую его с собственностью, с быками, с родным паем земли...

Утром он позавтракал, долго писал заявление, мучительно морща лоб, обрезанный полосой загара. Получилось:

*Товарищу Макару Нагульнову
в ячейку коммунистической гремяченской партии*

Заявление

Я, Кондрат Христофоров Майданников, середняк, прошу принять меня в колхоз с моей супругой и детьми, и имуществом, и со всей живностью. Прошу допустить меня до новой жизни, так как я с ней вполне согласный.

К. Майданников.

– Вступил? – спросила жена.

– Вступил.

– Скотину поведешь?

– Зараз поведу... Ну, что же ты кричишь, идола дура? Мало я на тебя слов срасходо-вал, уговаривал, а ты опять за старое? Ты же согласилась!

– Мне, Кондраша, одну корову жалко... Я согласная. Только уж дюже сердце болит... – говорила она, улыбаясь и завеской вытирая слезы.

Следом за матерью заплакала и Христишка, младшая, четырехлетняя девчушка.

Кондрат выпустил с база корову и быков; обротав лошадь, погнал к речке. Напоил. Быки повернули было домой, но Кондрат с закипевшей на сердце злобой, наезжая конем, преградил им дорогу, направил к сельсовету.

Из окон, не отходя, глядели бабы, казаки поглядывали через плетни, не показываясь на улицу. Не по себе стало Кондрату! Но около Совета увидел он, свернув за угол, огромную, как на ярмарке, толпу, быков, лошадей, овец. Из соседнего проулка вывернулся Любишкин. Он тянул взналыганную корову, за которой поспешал телок с болтавшейся на шее веревкой.

– Давай им хвосты свяжем и погоним вместе, – попробовал шутить Любишкин, а сам по виду был задумчив, строг. Ему с немалым трудом удалось увести корову, свежая царапина на щеке была тому свидетельством.

– Кто это тебя шкарябнул?

– Греха не скрою: баба! Баба-чертяка кинулась за корову. – Любишкин заправил в рот кончик уса, недовольно цедил: – Пошла в наступ, как танка. Такое у нас кроворазлитие вышло возле база, от суседей стыду теперь не оберешься. Кинулась с чаплей¹⁹, не поверишь? «А, говорю, красного партизана бить? Мы, говорю, генералам и то навтыкали!» – да черк ее за виски. Со стороны кто глядел, ему небось спектакля...

От сельсовета тронулись во двор к Титку. С утра еще двенадцать середняков, одумавшись за ночь, принесли заявления, пригнали скот.

Нагульнов с двумя плотниками в Титковом дворе тесал ольхи на ясли. На первые общественные ясли в Гремячем Логу.

¹⁹ Чапля (чапельник) – сквородник.

Глава XI

Кондрат долго долбил пешней смерзшуюся землю, рыл ямки для стоянов. Рядом с ним старался Любишкин. У Павла из-под черной папахи, нависшей как грозовая туча, сыпался пот, лицо горело. Ощеря рот, он с силой, с яростью опускал пешню, комки и крохи мерзлой земли летели вверх и врозь, дробно постукивая о стены. Ясли наскоро склотили, загнали в сарай оцененных комиссией двадцать восемь пар быков. Нагульнов в одной защитной рубахе, прилипшей к потным лопаткам, вошел в сарай.

– Помахал топориком, и уж рубаху хучь выжми? Плохой из тебя работник, Макар! – Любишкин покачал головой. – Гляди, как я! Гах! Гах!.. Пешня у Титка добрая... Гах!.. Да ты полушубок скорей одевай, а то простынешь и копыта на сторону!

Нагульнов накинул полушубок. Со щек его медленно сходил кроваво-красный, пли-тами, румянец.

– Это от газов. Как поработаю или на гору подыматься – зараз же задвохнусь, сердце застукотит... Последний стоян? Ну и хорошо! Гляди, какое у нас хозяйство! – Нагульнов обвел горячею блестящими глазами длинный ряд быков, выстроившихся вдоль новых, пах-нувших свежей щепкой яслей.

Пока на открытом базу размещали коров, пришел Размётнов с Демкой Ушаковым. Ото-звал Нагульнова в сторону, схватил его руку:

– Макар, друг, за вчерашнее не сердчай... Наслухался я детского крику, своего парнишку вспомянул, ну и защемило...

– Защемить бы тебя, черта, жаленника!

– Ну конечно! Я уж по твоим глазам вижу, что сердце на меня остыло.

– Будет тебе, балабон! Куда направляешься? Сено надо свозить. Давыдов где?

– Он с Менком заявления в колхоз разбирают в Совете. А я иду... У меня же один кулацкий двор остался целый, Семена Лапшинова...

– Придешь, опять будешь?... – Нагульнов улыбнулся.

– Оставь! Кого бы мне из людей взять? Такое делается, спуталось все, как в бою! Ско-тину тянут, сено везут. Кое-кто уж семена привез. Я их отправил обратно. Уж потом за семена возьмемся. Кого бы на подсобу взять?

– Вон Кондрата Майданникова. Кондрат! А ну иди сюда. Ступай-ка вот с председа-телем раскулачивать Лапшинова. Не робеешь? А то иные не хотят, есть такие совестливые, вот как Тимофей Борщев... Лизать ему не совестно, а награбленное забрать – совесть зазре-вает...

– Нет, чего же не пойти? Я пойду. Охотой.

Подошел Демка Ушаков. Втроем вышли на улицу. Размётнов, поглядывая на Кондрата, спросил:

– Ты чего насупонился? Радоваться надо, гляди, как хутор оживел, будто муравьиное гнездо тронулось.

– Радоваться нечего спешить. Трудно будет, – сухо отозвался Кондрат.

– Чем?

– И с посевом, и с присмотром за скотиной. Видал вон: трое работают, а десять под плетнем на прищипках сидят, сигарки крутят...

– Все будут работать! Это попервоначалу. Кусать нечего будет – небось меньше будут курить.

На повороте, поставленные на ребро, торчали сани. Сбоку лежал ворох рассыпанного сена, валялись обломанные копылья. Распряженные быки жевали ярко-зеленый на снегу

пырей. Молодой парень – сын вступившего в колхоз Семёна Куженкова – лениво подгребал сено вилами-тройчатками.

– Ну, чего ты как неживой ходишь? Я в твои года как на винтах был! Разве так работают? А ну дай сюда вилы! – Демка Ушаков вырвал из рук улыбающегося парня вилы и, крикнув, попер на весу целую копну.

– Как же это ты перевернулся? – рассматривая сани, спросил Кондрат.

– Под раскат вдарило, не знаешь как?

– Ну, мотай за топором, возьми вот у Донецковых.

Сани подняли, затесали и вставили копылья. Демка аккуратно свершил возок, обчесал граблями.

– Куженков ты, Куженков! Драть бы тебя мазаной шелужиной²⁰ да кричать не свететь. Ты глянь, сколько быки сена натолочили! А ты бы взял беремячко, пхнул им к плетню, и пушай бы ели. Кто же в вольную пушает?

Парень засмеялся, тронул быков:

– Оно теперича не наше, колхозное.

– Видали такого сукиного сына? – Демка разъехавшимися в стороны глазами оглядел Кондрата и Размётнова и нехорошо выругался.

Пока у Лапшинова производили опись, во двор набралось человек тридцать народу. Преобладали бабы-соседки, казаков было мало. Когда Лапшинову, высокому клинобородому седачу, предложили покинуть дом, в толпе, сбившейся в курене, слышались шепот, тихий разговор.

– А то чего же! Наживал-наживал, а зараз иди на курган.

– Скушноватая песня...

– То-то ему небось жалко! А?

– Всякому своя боль больная.

– Небось не нравится так-то, а как сам при старом прижмем за долги у Трифонова имущество, об этом не думал.

– Как аукнется...

– Так ему, дьяволу, козлу бородатому, и надо! Сыпанули жару на подхвостницу!

– Грех, бабочки, чужой беде ликовать. Она, может, своя – вот она.

– Как то ни черт! У нас именья – одни каменья. Не подживеешься дюже!

– Летось за то, что косилку на два дня дал, слупил с меня, как с любушки, десять целковых. А это – совесть?

Лапшинов издавна считался человеком, имеющим деньжата. Знали, что еще до войны у него было немалое состояние, так как старик не брезговал и в долг ссужать под лихой процент, и ворованное потихоньку скупать. Одно время упорные были слухи, что на базу его передерживались краденые кони. К нему временами, все больше по ночам, навывались цыгане, лошадни-ки-купцы. Будто бы через жилистые руки Лапшинова шли кони воровским широким трактом на Царицын, Таганрог и Урюпинскую. Хутору доподлинно было известно, что Лапшинов в старое время раза три в год возил менять в станицу бумажные екатериновки²¹ на золотые империалы²². В 1912 году его даже пытались «подержать за кисет», однако Лапшинов – старик матерый и сильный – отбил-ся от напавших грабителей одной чакушкой²³ и ускакал. Но он и сам охулки на руку не клал: прихватывали его в степи с чужими копнами – это смолоду, а под старость стал он вовсе на чужое прост: брал все,

²⁰ Шелужина (шелюжина) – хворостина.

²¹ Екатериновка – в царской России сторублевая денежная бумага с портретом царицы Екатерины II.

²² Империал – десятирублевая золотая монета в дореволюционной России.

²³ Чакушка (чекуша) – шкворень, притыка.

что плохо лежало. Скуп же был до того, что, бывало, поставит в церкви копеечную свечку перед образом Николы Мирликийского, чуть погорит – Лапшинов подойдет и затушит, перекрестится, сунет в карман. Так одну свечку, бывало, год становит, а тем, кто упрекал его за такую излишнюю рачительность и нерадение к богу, отвечал: «Бог умнее вас, дураков! Ему не свечка нужна, а честь. Богу незачем меня в убыток вводить. Он даже бечевой сек торгующих в церкви».

Лапшинов спокойно встретил весть о раскулачивании. Ему нечего было бояться. Все ценное было заранее припрятано и сдано в надежные руки. Он сам помогал производить опись имущества, на свою причитавшую старуху грозно притопывал ногой, а через минуту со смирением говорил:

– Не кричи, мать, наши страдания зачтутся господом. Он, милостивец, все зрит...

– А он не зрит того, куда ты новый овчинный тулуп запропастил? – серьезно, в тон хозяину, спрашивал Демка.

– Какой тулуп?

– А в каком ты в прошлое воскресенье в церковь ходил.

– Не было у меня нового тулупа.

– Был и зараз где-то спасается!

– Что ты, Дементий, перед богом говорю, – не было!

– Бог покарает, дед! Он тебя гвозданет!

– И вот тебе Христос, напрасно ты это... – Лапшинов крестился.

– Грех на душу берешь! – Демка подмигивал в толпу, выжимая у баб и казаков улыбки.

– Не виноватый я перед ним, истинное слово!

– Прихоронил тулуп-то! Ответишь на Страшном суде!

– Это за свой тулуп-то?! – вскипел, не выдержав, Лапшинов.

– За ухороны ответишь!

– Бог, он, должно, такого ума, как ты, пустозвон! Он в эти дела и мешаться не будет!.. Нету тулупа! Совестно тебе над стариком надсмехаться. Перед богом и людьми совестно!

– А тебе не совестно было с меня за две меры проса, какие на семена брал, три меры взять? – спросил Кондрат.

Голос его был тих и хриповат, в общем шуме почти неслышен, но Лапшинов повернулся на него с юношеской живостью:

– Кондрат! Почтенный твой родитель был, а ты... Ты хоть из памяти об нем не грешил бы! В Святом писании сказано: «Падающего не пихай», – а ты как поступаешь? Когда я с тебя три меры за две взял? А бог? Ить он все видит!

– Он хотел бы, чтоб ему, идолу голоштанному, даром просцо отдали! – истошно закричала Лапшиниха.

– Не шуми, мать! Господь терпел и нам велел. Он, страдалец, терновый венок надел и плакал кровяными слезами... – Лапшинов вытер мутную слезинку рукавом.

Гомонившие бабы притихли, завздыхали. Размётнов, кончив писать, сурово сказал:

– Ну, дед Лапшинов, выметайся отсюда. Слеза твоя не дюже жалостная. Много ты людей наобижал, а теперь мы сами тебе прикорот даем, без бога. Выходите!

Лапшинов взял за руку своего косноязычного, придурковатого сына, надел ему на голову треух, вышел из дома. Толпа хлынула следом. На базу старик стал на колени, предварительно постлав на снегу полу полушубка. Перекрестил хмурый лоб и земно поклонился на все четыре стороны.

– Ступай! Ступай! – приказывал Размётнов.

Но толпа глухо загудела, раздались выкрики:

– Дайте хучь с родным подворьем проститься!

– Ты не дури, Андрей! Человек одной ногой в могиле, а ты...

– Ему, по его жизни, обеими надо туда залезть! – крикнул Кондрат.

Его прервал старик Гладилин – церковный ктитор:

– Выдабриваешься перед властью? Бить вас, таковских, надо!

– Я тебе, сиводуший, так вдарю, что и дорогу к дому забудешь!

Лапшинов кланялся, крестился, говорил зычно, чтоб слышали все, трогал доходчивые к жалости бабьи сердца:

– Прощайте, православные! Прощайте, родимые! Дай бог вам на здоровье... пользуйтесь моим кровным. Жил я, честно трудился...

– Ворованное покупал! – подсказывал с крыльца Демка.

– ...в поте лица добывал хлеб насущный...

– Людей разорял, процент сымал, сам воровал, кайся! Взять бы тебя за хиршу, собачий блуд, да об землю!

– ...насущный, говорю, а теперь, на старости лет...

Бабы захлюпали носами, потянули к глазам концы платков. Размётнов только что хотел поднять Лапшинова и вытолкнуть со двора, он уж крикнул было: «Ты не агитируй, а то...» – как на крыльце, где стоял, прислонясь к перилам, Демка, внезапно возникли шум, возня...

Лапшиниха выскочила из кухни, неся в одной руке кошелку с насиженными гусиными яйцами, в другой – притихшую, ослепленную снегом и солнцем гусыню. Демка легко взял у нее кошелку, но в гусыню Лапшиниха вцепилась обеими руками:

– Не трожь, по-га-нец! Не трожь!

– Колхозная теперича гусыня!.. – заорал Демка, ухватясь за вытянутую гусиную шею.

Лапшиниха держала гусиные ноги. Они тянули всяк к себе, яростно возя друг друга по крыльцу.

– Отдай, косой!

– Я те отдам!

– Пусти, говорю!

– Колхозная гуска!.. – задыхаясь, выкрикивал Демка. – Она нам на весну... гусят!.. Отойди, старая, а то ногой в хряшки... гусят... выведет!.. Вы свое отъели...

Разлохматившаяся Лапшиниха, упираясь в порожек валенком, тянула к себе, брызгала слюной. Гусыня, вначале взревшая дурным голосом, замолкла, – видно, Демка перехватил ей дыхание, – но продолжала с бешеной быстротой выбрасывать крылья. Белый пух и перья снежными хлопьями закружились над крыльцом. Казалось: еще один миг, и Демка одолеет, вырвет полуживую гусыню из костлявых рук Лапшинихи, но вот в этот-то момент непрочная гусиная шея, тихо хрустнув позвонками, оборвалась. Лапшиниха, накрывшись подолом через голову, загремела с крыльца, гулко считая порожки. А Демка, ахнув от неожиданности, с одной гусиной головой в руках упал на кошелку, стоявшую позади него, давя гусиные насиженные яйца. Взрыв неслыханного хохота оббил ледяные сосульки с крыши. Лапшинов встал с колен, натянул шапку, яростно дернул за руку своего слюнявого, ко всему равнодушного сына, почти рысью потащил его со двора. Лапшиниха встала, черная от злости и боли. Обметая юбку, она потянулась было к обезглавленной, бившейся у порошков гусыне, но желтый борзой кобель, крутившийся возле крыльца, увидев цевкой бившую из гусиной шеи кровь, вдруг прыгнул, вздыбив на спине шерсть, и из-под носа Лапшинихи выхватил гусыню, поволок ее по двору под свист и улюлюканье ребят.

Демка, кинув вослед Лапшинихе гусиную голову, все еще смотревшую на мир навек изумленным оранжевым глазом, ушел в хату. И долго еще над двором и проулком висел разноголосый, взрывами, смех, тревожа и вспугивая с сухого хвороста воробьев.

Глава XII

Жизнь в Гремячем Логу стала на дыбы, как норовистый конь перед трудным препятствием. Казаки днем собирались на проулках и в куренях, спорили, толковали о колхозах, высказывали предположения. Собрания созывались в течение четырех дней подряд каждый вечер и продолжались до кочетиного побудного крику.

Нагульников за эти дни так похудел, будто долгий срок лежал в тяжелой хворости. Но Давыдов по-прежнему хранил наружное спокойствие, лишь резче легли у него над губами, по обочинам щек глубокие складки упорства. Он как-то сумел и в Размётнова, обычно легко воспалявшегося и столь же легко поддававшегося неоправдываемой панике, вселить уверенность. Андрей ходил по хутору, осматривая скотины общие базы, с уверенной ухмылкой, поигрывавшей в злобноватых его глазах. Аркашке Менку, возглавлявшему до выборов правления колхоза колхозную власть, часто говаривал:

– Мы им рога посвернем! Все будут в колхозе.

Давыдов послал в райком конноарочного с сообщением о том, что в колхоз вовлечено пока только тридцать два процента, но что работа по вовлечению в колхоз продолжается ударными темпами.

Кулаки, выселенные из своих куреней, поселились у родни и близких людей. Фрол Рваный, отправив Тимофея прямо в округ к прокурору, жил у приятеля своего Борщева, того самого, который на собрании бедноты некогда отказался от голосования. У Борщева в тесной связи²⁴ собирался кулацкий актив.

Обычно днем, для того чтобы оградить себя от подслушиваний и досмотра, сходились к Борщеву по одному, по два, пробираясь задами и гумнами, чтобы не шибалось людям в глаза, чтобы не привлечь внимания сельсовета. Приходил Гаев Давыд и жженный плут Лапшинов, ставший после раскулачивания «Христа ради юродивым», изредка являлся Яков Лукич Островнов нащупывать почву. Прибывались к «штабу» и кое-кто из середняков, решительно восставших против колхоза, – Николай Люшня и другие. Кроме Борщева, были даже двое из бедноты: один высокий, безбровый казак Атаманчуков Василий, всегда молчаливый, голый, как яйцо, начисто выстриженный и выбритый, другой – Хопров Никита, артиллерист гвардейской батареи, сослуживец Подтелкова, в гражданскую войну все время уклонявшийся от службы и попавший-таки в 1919 году на службу в карательный отряд калмыка полковника Аштымова. Это и определило дальнейшую жизнь Хопрова при Советской власти. Три человека в хуторе – Яков Островнов с сыном и Лапшинов-старик – видели его при отступлении в 1920 году в Куцевке в аштымовском карательном отряде с долево́й белой полоской подхорунжего на погоне, видели, как он с тремя казаками-калмыками гнал арестованных рабочих железнодорожного депо к Аштымову на допрос... Видели... А сколько жизни потерял Хопров после того, как вернулся из Новороссийска в Гремячий Лог и узнал, что Островновы и Лапшинов уцелели! Сколько страху пережил грудастый гвардейский батаре́ец за лютые на расправу с контрой года! И он, на ковке удерживавший любую лошадь, взяв ее за копыто задней ноги, – дрожал, как убитый заморозком поздний дубовый лист, когда встречался с лукаво улыбающимся Лапшиновым. Его он боялся больше всех. Встречался, хрипел, с трудом шевеля губами:

– Дедушка, не дай пропасть казачьей душе, не выдавай!

Лапшинов с нарочитым негодованием успокаивал:

– Что ты, Никита! Христос с тобой! Да разве же я креста на гайтане не ношу? А спаситель как научал: «Пожалей ближнего, как самого себя». И думать не моги, не скажу! Режь –

²⁴ Связь – хата из двух комнат, соединенных сенями.

кровь не текет. У меня так... Только и ты уж подсоби, ежели что... На собрании там, может, кто против меня или от власти приступ будет... Ты оборони, на случай... Рука руку моет. А поднявший меч от меча да и гинет. Так ить? Ишо хотел я тебя просить, чтоб подсобил вспахать мне. Сына мне бог дал умом тронутого, он не пособник, человека нанимать – дорого...

Из года в год «подсоблял» Лапшинову Никита Хопров; задаром пахал, волочил, совал лапшиновской молотилке лапшиновскую пшеницу, стоя зубарем²⁵. А потом приходил домой, садился за стол, хоронил в чугунных ладонях свое широкое рыжеусое лицо, думал: «До коих же пор так? Убью!»

Островнов Яков Лукич не одолевал просьбами, не грозился, знал, что если попросит когда, то и в большом, не только в бутылке водки, не посмеет отказать Хопров. А водку пивал Яков Лукич у него таки частенько, неизменно благодарил: «Спасибо за угощение».

«Захленись ты ею!» – думал Хопров, с ненавистью сжимая под столом полупудовые гири-кулаки.

Половцев все еще жил у Якова Лукича в маленькой горенке, где раньше помещалась старуха Островниха. Она перешла на печку, а Половцев в ее горенке курил почти напролет, лежа на куцей лежанке, упирая босые жилистые ноги в горячий камень. Ночью он часто ходил по спящему дому (ни одна дверь не скрипнет, заботливо смазанная в петлях гусиным жиром). Иногда, накинув полушубок, затушив сигарку, шел проведать коня, спрятанного в мякиннике. Застоявшийся конь встречал его дрожащим приглушенным ржанием, словно знал, что не время выражать свои чувства полным голосом. Хозяин охаживал его руками, щупал суставы ног своими негнушимися, железными пальцами. Как-то раз, в особо темную ночь, вывел его из мякинника и охлупкой поскакал в степь. Вернулся перед светом. Конь был мокр, словно вымыт потом, часто носил боками, сотрясался тяжелой нечастой дрожью. Якову Лукичу Половцев утром сказал:

– Был в своей станице. Ищут меня там... Казаки готовы и ждут только приказа.

Это по его наущению, когда вторично было созвано общее собрание гремяченцев по вопросу о колхозе, Яков Лукич выступил с призывом войти в колхоз и несказанно обрадовал Давыдова своей разумной, положительной речью и тем, что после слов авторитетного в хуторе Якова Лукича, заявившего о своем вступлении в колхоз, было подано сразу тридцать одно заявление.

Ладно говорил Яков Лукич о колхозе, а на другой день, обходя дворы, угощал на деньги Половцева надежных, настроенных против колхоза середняков, подвыпив и сам малость, говорил иное:

– Чудак ты, братец! Мне дюжей, чем тебе, надо в колхоз вступать и говорить против нельзя. Я жил справно, могут обкулачить, а тебе какая нужда туда переться? Ярма не видал? В колхозе тебя, братец, так взналыгают, света невзвидишь! – И тихонько начинал рассказывать уже заученное наизусть о предстоящем восстании, про обобществление жен и, если собеседник оказывался податливым, злобно готовым на все, – уговаривал, упрашивал, грозил расправой, когда из-за границы придут «наши», и под конец добивался своего: уходил, заручившись согласием на вступление в «союз».

Все шло хорошо и ладно. Навербовал Яков Лукич около тридцати казаков, строжайше предупреждая, чтобы ни с кем не говорили о вступлении в «союз», о разговоре с ним. Но как-то отправился доканчивать дело в кулацкий штаб (на раскулаченных и группировавшихся около них была у него и у Половцева нерушимая надежда, потому-то вовлечение их, как дело нетрудное, и было оставлено напоследок), и тут-то впервые вышла у него осечка... Яков Лукич, закутавшись в зипун, пришел к Борщеву перед вечером. В нежилой горнице топилась

²⁵ *Зубарь* – подавальщик снопов на молотилке.

подземка²⁶. Все были в сборе. Хозяин – Тимофей Борщев, стоя на коленях, совал в творило подземки мелко наломанный хворост, на лавках, на сваленных в углу едовых тыквах, распи- санных, словно георгиевские ленты, оранжевыми и черными полосами, – сидели Фрол Рва- ный, Лапшинов, Гаев, Николай Люшня, Атаманчуков Василий и батареец Хопров. Спиной к окну стоял только что в этот день вернувшийся из округа Тимофей – сын Фрола Рваного. Он рассказывал о том, как сурово встретил его прокурор, как хотел вместо рассмотрения жалобы арестовать его и отправить обратно в район. Яков Лукич вошел, и Тимофей умолк, но отец одобрил его:

– Это наш человек, Тимоша. Ты его не пужайся.

Тимофей закончил рассказ; поблескивая глазами, сказал:

– Жизнь такая, что, если б банда зараз была, сел бы на коня и начал коммунистам кровь пущать!

– Тесная жизнь стала, тесная... – подтвердил и Яков Лукич. – Да оно, кабы на этом кончилось, еще слава богу...

– А какого ж еще лиха ждать? – озлился Фрол Рванный. – Тебя не коснулось, вот тебе и сладко, а меня уж хлеб zaczynaет исть. Жили с тобой почти одинаково при царе, а вот зараз ты как обдутьенький, а с меня последние валенки сняли.

– Я не про то боюсь, как бы чего не получилось...

– Чего же?

– Война как бы...

– Поддай-то, господи! Уподобь, святой Егорий Победоносец! Хоть бы и зараз! И сказано в Писании апостола...

– С колями бы пошли, как вёшенцы в девятнадцатом году!

– Жилы из живых бы тянул, эх, гм-м-м!..

Атаманчуков, раненный в горло под станицей Филоновской, говорил, как в пастушью дудку играл, – невнятно и тонко:

– Народ осатанел, зубами будут грызть!..

Яков Лукич осторожно намекнул, что в соседних станицах беспокойно, что будто бы даже кое-где коммунистов уже учат уму-разуму, по-казачьему, как в старину учили нежелан- ных, прибывавшихся к Москве атаманов, а учили их просто – в мешок головой да в воду. Говорил тихо, размеренно, обдумывая каждое слово. Вскользь заметил, что беспокойно везде по Северо-Кавказскому краю, что в низовых станицах уже обобществлены жены, и коммунисты первые спят с чужими бабами в открытую, и что к весне ждётся десант. Об этом, мол, сказал ему знакомый офицер, полчанин, проезжавший с неделю назад через Гремячий. Утаил только одно Яков Лукич, что этот офицер до сих пор скрывается у него.

До этого все время молчавший Никита Хопров спросил:

– Яков Лукич, ты скажи вот об чем: ну ладно, восстанем мы, перебьем своих комму- нистов, а потом? С милицией-то мы управимся, а как со станции сунут на нас армейские части, тогда что? Кто же нас супротив их поведет? Офицеров нету, мы – темные, по звездам дорогу угадываем... А ить в войне части не наобум ходют, они на плантах дороги ищут, карты в штабах рисуют. Руки-то у нас будут, а головы нет.

– И голова будет! – с жаром уверял Яков Лукич. – Офицерья объявятся. Они поуче- ней красных командиров. Из старых юнкеров выходили в начальство, благородные науки превзошли. А у красных какие командиры? Вот хотя бы нашего Макара Нагульнова взять. Голову отрубить – это он может, а сотню разве ему водить? Ни в жизнь! Он-то в картах дюже разбирается?

– А откуда же офицерья объявятся?

²⁶ Подземка – низенькая печурка.

– Бабы их народют! – озлился Яков Лукич. – Ну, чего ты, Никита, привязался ко мне, как орпей к овечьему курдюку? «Откуда, откуда»!.. А я-то знаю откуда?

– Из-за границы приедут. Непременно приедут! – обнадеживал Фрол Рванный и, предвкушая переворот, кровавую сладость мести, от удовольствия раздувая одну уцелевшую ноздрю, с хлюпом всасывал ею прокуренный воздух.

Хопров встал, пихнул тыкву ногой и, оглаживая рыжие широкие усы, внушительно сказал:

– Так-то оно так... Но только казаки стали теперича ученые. Их бивали смертно за восстания. Не пойдут они. Кубань не поддержит...

Яков Лукич посмеивался в седеющие усы, твердил:

– Пойдут, как одна душа! И Кубань вся огнем схватится... А в драке так: зараз я под низом, лопатками землю вдавливаю, а глядь, через какой-то срок уж я сверху на враге лежу, выпинаю его.

– Нет, братцы, как хотите, а я на это не согласный! – холодея от прилива решимости, заговорил Хопров. – Я против власти не подымаюсь и другим не посоветую. И ты, Яков Лукич, занапрасну народ подбиваешь на такие шутки... Офицер, какой у тебя ночевал, он чужой, темный человек. Он намутит воду – и в сторону, а нам опять расхлебывать. В эту войну они нас пихнули супротив Советской власти, казакам понашили лычки на погоны, понапекли из них скороспелых офицеров, а сами в тылы подались, в штабы, с тонконогими барышнями гулять... Помнишь, дело коснулось расплаты, кто за общие грехи платил? В Новороссийском красные на пристанях калмыкам головы срубали, а офицеры и другие благородные на пароходах тем часом плыли в чужие теплые страны. Вся Донская армия, как гурт овец, табунилась в Новороссийском, а генералы?.. Эх! Да я и то хотел кстати спросить: этот «ваше благородие», какой ночевал, зараз не у тебя спасается? Разка два примечал я, что ты в мякинник воду в цибарке носишь... К чему бы, думаю, Лукичу воду туда носить, какого он черта там поит? А потом как-то слышу – конь заиржал.

Хопров с наслаждением наблюдал, как под цвет седоватым усам становится лицо Якова Лукича. Были общее замешательство и испуг. Лютая радость распирала грудь Хопрова, он кидал слова, – словно со стороны, как чужую речь, слышал свой голос.

– Никакого офицера у меня нету, – глухо сказал Яков Лукич. – Иржала моя кобылка, а воду в мякинник я не носил, помой иной раз... Кабан у нас там...

– Голос твоей кобыленки я знаю, меня не обманешь! Да мне-то что? А в вашем деле я не участник, а вы угадывайте...

Хопров надел папаху, – глядя по сторонам, пошел к двери. Ему загородил дорогу Лапшинов. Седая борода его тряслась, он, как-то странно приседая, разводя руками, спросил:

– Доносить идешь, Июда? Проданный? А ежели сказать, что ты в карательном, с калмыками...

– Ты, дед, не сепети! – с холодным бешенством заговорил Хопров, подымая на уровень лапшиновской бороды свой литой кулак. – Я сам спервоначалу на себя донесу, так и скажу: был в карателях, был подхорунжий, судите... Но-о-о и вы глядите! И ты, старая петля кобыля... И ты... – Хопров задыхался, в широкой груди его хрипело, как в кузнечном мехе. – Ты из меня кровь все высосал! Хотя раз над тобой поликовать!

Не размахиваясь, тычком он ударил Лапшинова в лицо и вышел, хлопнув дверью, не глянув на упавшего у притолоки старика. Тимофей Борщев принес порожнее ведро. Лапшинов встал над ведром на колени. Черная кровь ударила из его ноздрей, словно из вскрытой вены. В потерянной тишине слышно было лишь, как всхлипывает, скрежещет зубами Лапшинов да цедятся, звенят по стенке ведра, стекая с лапшиновской бороды, струйки крови.

– Вот теперь мы пропали вовзят!²⁷ – сказал многосемейный раскулаченный Гаев.

И тотчас же вскочил Николай Люшня, не попрощавшись, не покрыв головы шапкой, кинулся из хаты. За ним степенно вышел Атаманчуков, тоненько и хриповато сказав на прощанье:

– Надо расходиться, а то добра не дождешься.

Несколько минут Яков Лукич сидел молча. Сердце у него, казалось, распухло и подкатило к глотке. Трудно стало дышать. Напористо била в голову кровь, а на лбу выступила холодная испарина. Он встал, когда уже многие ушли; безглаголиво обходя склонившегося над ведром Лапшинова, тихо сказал Тимофею Рваному:

– Пойдем со мной, Тимофей!

Тот молча надел пиджак, шапку. Вышли. По хутору гасли последние огни.

– Куда пойдем-то? – спросил Тимофей.

– Ко мне.

– Зачем?

– Потом узнаешь, давай поспешать.

Яков Лукич нарочно прошел мимо сельсовета, там не было огня, темнотой зияли окна. Вошли на баз к Якову Лукичу. Возле крыльца он остановился, тронув рукав Тимофеева пиджака.

– Погоди трошки тут. Я тебя тогда покличу.

– Лады.

Яков Лукич постучал, сноха вынула из пробоя засов.

– Ты, батя?

– Я. – Он плотно притворил за собой дверь; не заходя, постучался в дверь горенки. Хриповатый басок спросил:

– Кто?

– Это я, Александр Анисимович. Можно?

– Входи.

Половцев сидел за столиком против занавешенного черной шалью окна, что-то писал. Исписанный лист покрыл своей крупной жилистой ладонью, повернул лобастую голову:

– Ну что? Как дело?..

– Плохо... Беда!..

– Что? Говори живее!.. – Половцев вскочил, сунул исписанный лист в карман, торопливо застегнул ворот толстовки и, наливаясь кровью, багровея, нагнулся, весь собранный, готовый, как крупный хищный зверь перед прыжком.

Яков Лукич сбивчиво рассказал ему о случившемся. Половцев слушал, не проронив слова. Из глубоких впадин тяжко, в упор смотрели на Якова Лукича его голубоватые глазки. Он медленно распрямлялся, сжимал и разжимал кулаки, под конец страшно скривил выбритые губы, шагнул к Якову Лукичу:

– Па-а-адлец! Что же ты, образина седая, погубить меня хочешь? Дело хочешь погубить? Ты его уже наполовину погубил своей дурьей неосмотрительностью. Я как тебе приказывал? Как я те-бе при-ка-зы-вал? Надо было по одному прощупать настроение всех предварительно! А ты – как бык с яру!.. – Его приглушенный, басовитый, булькающий шепот заставлял Якова Лукича бледнеть, повергал в еще больший страх и смятение. – Что теперь делать? Он уже сообщил, этот Хопров? А? Нет? Да говори же, пенек гремяченский! Нет? Куда он пошел, ты проследил?

²⁷ Вовзят – совсем, вовсе.

– Никак нет... Александр Анисимович, благодетель, мы пропали теперича! – Яков Лукич схватился за голову. По коричневой щеке его на седоватый ус, щекоча, скатилась слезинка.

Но Половцев только зубами скрипнул.

– Ты! Бабья... Надо делать, а не... Сын твой дома?

– Не знаю... я захватил с собой человека.

– Какого?

– Сын Фрола Рваного.

– Ага. Зачем привел его?

Они встретились глазами, поняли друг друга без слов. Яков Лукич первый отвел глаза, на вопрос Половцева: «Надежный ли парень?» – только молча кивнул головой. Половцев яростно сорвал с гвоздя свой полушубок, вынул из-под подушки свежепрочищенный наган, крутнул барабан, и в отверстиях гнезд сияющим кругом замерцал никель вдавленных в гильзы пулевых головок. Застегивая полушубок, Половцев отчетливо, как в бою, командовал:

– Возьми топор. Веди самой короткой дорогой... Сколько минут ходьбы?

– Тут недалеко, дворов через восемь...

– Семья у него?

– Одна жена.

– Соседи близко?

– С одной стороны гумно, с другой – сад.

– Сельсовет?

– До него далеко...

– Пошли!

Пока Яков Лукич ходил за топором к дровосеке, Половцев левой рукой сжал локоть Тимофея, негромко сказал:

– Беспрекословно слушать меня! Пойдем туда, и ты, паренек, измени голос, скажи, что ты дежурный сиделец из сельсовета, что ему бумажка. Надо, чтобы он сам открыл дверь.

– Вы смотрите, товарищ, как вас... незнакомый с вами... этот Хопров, как бык, сильный, он, ежели не вспопáшится, может так омочить голым кулаком, что... – развязно заговорил было Тимофей.

– Замолчи! – оборвал его Половцев и протянул руку к Якову Лукичу. – Дай-ка сюда. Веди.

Ясеновое топорище, нагревшееся и мокрое от ладони Якова Лукича, сунул под полушубок за пояс шаровар, поднял воротник.

По проулку шли молча. Рядом с плотной, большой фигурой Половцева Тимофей выглядел подростком. Он шел рядом с валко шагавшим есаулом, назойливо заглядывая ему в лицо. Но темнота и поднятый воротник мешали...

Через плетень перелезли на гумно.

– Иди по следу, чтобы один след был, – шепотом приказал Половцев.

По нетронутому снегу пошли волчьей цепкой, шаг в шаг. Около калитки во двор Яков Лукич прижал ладонь к левому боку, тоскливо шепнул:

– Господи...

Половцев указал на дверь.

– Стучи!.. – скорее угадал по губам его, чем услышал Тимофей.

Тихонько звякнул щеколдой и тотчас же услышал, как яростно скребут, рвут застежки полушубка пальцы чужого человека в белой папахе, ставшего справа от двери. Тимофей постучал еще раз. С ужасом смотрел Яков Лукич на собачонку, вылезавшую из-под стояв-

шего на открытом базу букаря. Но прозябший щенок безголосо тьякнул, заскулил, подался к покрытому камышом погребу.

* * *

Домой Хопрров пришел отягощенный раздумьем, за время ходьбы несколько успокоившийся. Жена собрала ему повечерять.

Он поел неохотно, грустно сказал:

– Я бы зараз, Марья, арбуза соленого съел.

– На похмёл, что ли? – улыбнулась та.

– Нет, я не пил ноне. Я завтра, Машутка, объявляю властям, что был в карателях. Мне не по силам больше так жить.

– Ох, и придумал! Да ты чего это ноне кружонный какой-то? Я и не пойму.

Никита улыбался, подергивая широкий рыжий ус. И, уже ложась спать, снова серьезно сказал:

– Ты мне сухарей сготовь либо пресных подорожников спеки. На отсидку я пойду.

А потом долго, не слушая увещаний жены, лежал с открытыми глазами, думал: «Объявлю про себя и про Островнова, пушай и их, чертей, посажают! А мне что же будет? Не расстреляют же? Отсижу года три, дровишки на Урале порублю и выйду отсель чистым. Никто тогда уж не попрекнет прошлым. Ни на кого работать за свой грех больше не буду. Скажу по совести, как попал к Аштымову. Так и скажу: мол, спасался от фронта, кому лоб под пули подставлять охота? Пушай судят, за давностью времен выйдет смягчение. Все расскажу! Людей сам я не стрелял, ну а что касасямо плетей... Ну что же, плетей вваливал и казакам-дезертирам, и кое-каким за большевизму... Я тогда темней ночи был, не знал что и куда».

Он уснул. Вскоре от первого сна оторвал его стук. Полежал. «Кому бы это приспичило?» Стук повторился. Никита, досадливо кряхтя, стал вставать, хотел зажечь лампочку, но Марья проснулась, зашептала:

– Либо опять на собранию? Не зажигай! Ни дня ни ночи покою... Перебесились, треклятые!

Никита босиком вышел в сенцы.

– Кто такой?

– Это я, дяденька Никита, из Совету.

Ребячий незнакомый голос... Что-то похожее на беспокойство, намек на тревогу почувствовал Никита и спросил:

– Да кто это? Чего надо?

– Это я, Куженков Николай. Бумажка тебе от председателя, велел зараз в Совет идтить.

– Сунь ее под дверь.

...Секунда тишины с той стороны двери... Грозный понукающий взгляд из-под белой курпайчатой папахи, и Тимофей, на миг растерявшийся, находит выход:

– За нее расписаться надо, отвори.

Он слышит, как Хопрров нетерпеливо переступает, шуршит по земляному полу сенцев босыми подошвами. Стукнула черная задвижка. В квадрате двери на темном фоне возникает белая фигура Хопррова. В этот миг Половцев заносит левую ногу на порог, взмахнув топором, бьет Хопррова обухом повыше переносицы.

Как бык перед зарезом, оглушенный ударом молота, рухнул Никита на колени и мягко завалился на спину.

– Входить! Дверь на запор! – неслышно командует Половцев. Он нащупывает дверную ручку, не выпуская из рук топора, распахивает дверь в хату.

Из угла с кровати – шорох дерюги, встревоженный бабий голос:

– Никак ты свалил что-то?.. Кто там, Никитушка?

Половцев роняет топор, с вытянутыми руками бросается к кровати.

– Ой, люди добрые!.. Кто это?.. Кар...

Тимофей, больно стукнувшись о притолоку, вбегает в хату. Он слышит звуки хрипенья и возни в углу. Половцев упал на женщину, подушкой придавил ей лицо и крутит, вяжет рушником руки. Его локти скользят по зыбким, податливо мягким грудям женщины, под ним упруго вгибается ее грудная клетка. Он ощущает тепло ее сильного, бьющегося в попытках освободиться тела, стремительный, как у пойманной птицы, стук сердца. В нем внезапно и только на миг вспыхивает острое, как ожог, желание, но он рычит и с яростью просовывает руку под подушку, как лошади, раздирает рот женщине. Под его скрюченным пальцем резиново подается, потом мягко ползет разорванная губа, палец – в теплой крови, но женщина уже не кричит глухо и протяжно: в рот ей до самой глотки забил он скомканную юбку.

Половцев оставляет возле связанной хозяйки Тимофея, сам идет в сенцы, дышит с хрипом, как сапная лошадь.

– Спичку!

Яков Лукич зажигает. При тусклом свете Половцев наклоняется к поверженному навзничь Хопрову. Батареец лежит, неловко подвернув ноги, прижав щеку к земляному полу. Он дышит, широкая бугристая грудь его неровно вздымается, и при выдохе каждый раз рыжий ус опускается в лужу красного. Спичка гаснет. Половцев на ощупь пробует на лбу Хопрова место удара. Под пальцами его шуршит раздробленная кость.

– Вы меня увольте... У меня на кровь сердце слабое... – шепчет Яков Лукич. Его бьет лихорадка, подламываются ноги, но Половцев, не отвечая, приказывает:

– Принеси топор... Он там... возле кровати. И воды.

Вода приводит Хопрова в сознание. Половцев давит ему коленом грудь, свистящим шепотом спрашивает:

– Донес, предатель? Говори! Эй, ты, спичку!

Спичка опять на несколько секунд освещает лицо Хопрова, его полуоткрытый глаз. Рука Якова Лукича дрожит, дрожит и крохотный огонек. В сенцах по метелкам свисающего с крыши камыша пляшут желтые блики. Спичка догорает, жжет ногти Якова Лукича, но он не чувствует боли. Половцев два раза повторяет вопрос, потом начинает ломать Хопрову пальцы. Тот стонет и вдруг ложится на живот, медленно и трудно становится на четвереньки, встает. Половцев, стоная от напряжения, пытается снова опрокинуть его на спину, но медвежья сила батарейца помогает ему встать на ноги. Левой рукой он хватает Якова Лукича за кушак, правой – охватывает шею Половцева. Тот втягивает голову в плечи, прячет горло, к которому тянутся холодные пальцы Хопрова, кричит:

– Огонь!.. Будь проклят! Огонь, говорят! – Он не может в темноте нашарить руками топор.

Тимофей, высунувшись из кухни, не подозревая, в чем дело, громко шепчет:

– Эй, вы! Вы его под хряшки... Под хряшки топором, остряком его, он тогда скажет!

Топор в руках у Половцева, с огромным напряжением вырывается Половцев из объятий Хопрова, бьет уже острием топора раз и два. Хопров падает и при падении цепляется головой за лавку. С лавки от толчка валится ведро. Гром от падения его – как выстрел. Половцев, скрипя зубами, кончает лежащего; ногою нащупывает голову, рубит топором и слышит, как, освобожденная, булькает, клокочет кровь. Потом силком вталкивает Якова Лукича в хату, закрывает за собою дверь, вполголоса говорит:

– Ты, в душу твою... слюняй! Держи бабу за голову, нам надо узнать: успел он сообщить или нет? Ты, парень, придави ей ноги!

Половцев грудью наваливается на связанную бабу. От него разит едким мускусом пота. Спрашивает, раздельно произнося каждое слово:

– Муж после того, как пришел с вечера, ходил в Совет или еще куда-нибудь?

В полусумраке хаты он видит обезумевшие от ужаса, вспухшие от невыплаканных слез глаза, почерневшее от удушья лицо. Ему становится не по себе, хочется скорей отсюда, на воздух... Он со злостью и отвращением давит пальцами ей за ушами. От чудовищной боли она бьется, на короткое время теряет сознание. Потом, придя в себя, вдруг выталкивает языком мокрый, горячий от слюны кляп, но не кричит, а мелким, захлебывающимся шепотом просит:

– Родненькие!.. Родненькие, пожалейте! Все скажу! – Она узнает Якова Лукича. Ведь он же кум ей, с ним она лет семь назад крестила сестрино сына. И трудно, как косноязычная, шевелит изуродованными, разорванными губами: – Куманек!.. Родимый мой!.. За что?

Половцев испуганно накрывает рот ей своей широкой ладонью. Она еще пытается в припадке надежды на милость целовать эту ладонь своими окровавленными губами. Ей хочется жить! Ей страшно!

– Ходил муж куда или нет?

Она отрицательно трясет головой. Яков Лукич хватается за руки Половцева:

– Ваше... Ваше... Ксан Анисимыч!.. Не трожь ее... Мы ей пригрозим, не скажет!.. Век не скажет!..

Половцев отталкивает его. Он впервые за все эти трудные минуты вытирает тылом ладони лицо, думает: «Завтра же выдаст! Но она – женщина, казачка, мне, офицеру, стыдно... К черту!.. Закрывать ей глаза, чтобы последнего не видела...»

Заворачивает ей на голову подол холстинной рубашки, секунду останавливает взгляд на ладном теле этой не рожавшей тридцатилетней женщины. Она лежит на боку, поджав ногу, как большая белая подстреленная птица... Половцев в полусумраке вдруг видит: ложбина на груди, смуглый живот женщины начинают лосниться, стремительно покрываясь испариной. «Поняла, зачем голову накрыл. К черту!..» Половцев, хакнув, опускает лезвие топора на закрывшую лицо рубаху.

Яков Лукич вдруг чувствует, как длительная судорога потянула тело его кумы. В ноздри ему хлынул приторный запах свежей крови... Яков Лукич, шатаясь, дошел до печки, страшный припадок рвоты потряс его, мучительно вывернул внутренности...

На крыльце Половцев пьяно качнулся, губами припал и стал хватать нападавший на перильце свежий и пушистый снег. Вышли в калитку. Тимофей Рванный отстал; околевав квартал, пошел на певучий голос двухрядки, доплывавший от школы. Возле школы – игрище. Тимофей, пощипывая девок, пробрался в круг, попросил у гармониста гармошку.

– Тимоша! Заиграй нам цыганку с перебором, – попросила какая-то девка.

Тимофей стал брать гармонь из рук хозяина и уронил. Тихо засмеялся, снова протянул руки и снова уронил, не успев накинуть на левое плечо ремень. Пальцы не служили ему. Он пошевелил ими, засмеялся, отдал гармошку.

– Натрескался уж гдей-то!

– Глянь-ка, девоньки, он никак пьяный?

– И пинжак уж облевал! Хорош!..

Девки подались от Тимофея. Хозяин гармошки, недовольно сдувая со складок мехов снег, неуверенно заиграл цыганочку. Ульяна Ахваткина, самая рослая из девок, «на гвардейца деланная», как звали ее в хуторе, пошла, поскрипывая низкими каблуками чириков, коромыслом выгнув руки. «Надо сидеть до света, – как о ком-то постороннем, думал Тимофей, – тогда никто на случай следствия не подкопается». Он встал и, уже сознательно подражая движениям пьяного, покачиваясь, прошел к сидящей на порожке школы девке, положил ей голову на теплые колени:

– Поищи меня, любушка!..

* * *

А Яков Лукич, зеленый, словно капустный лист, как вошел в курень – пал на кровать и головы от подушки не поднял. Он слышал, как над лоханкой мылил руки, плескал водой и отфыркивался Половцев, потом ушел к себе в горенку. Уже в полночь разбудил хозяйку:

– Ввар есть, хозяйюшка? Зачерпни напиться.

Попил (Яков Лукич смотрел на него из-под подушки одним глазом), достал разваренную грушу, зачавкал, пошел, дымя цигаркой, поглаживая по-бабьи голую пухловатую грудь.

В горенке Половцев протянул босые ноги к неостывшему камельку. Он любит по ночам греть ноющие от ревматизма ноги. Простудил их в 1916 году, зимою вплавь переправляясь через Буг, верой и правдой служа его императорскому величеству, обороняя отчизну. С той-то поры есаул Половцев и тяготеет к теплу, к теплой валяной обуви...

Глава XIII

За неделю пребывания в Гремячем Логу перед Давыдовым стеною встал ряд вопросов... По ночам, придя из сельсовета или из правления колхоза, разместившегося в просторном Титковом доме, Давыдов долго ходил по комнате, курил, потом читал привезенные кольцевиком «Правду», «Молот» и опять в размышлениях возвращался к людям из Гремячего, к колхозу, к событиям прожитого дня. Как зафлаженный волк, пытался он выбраться из круга связанных с колхозом мыслей, вспоминал свой цех, приятелей, работу; становилось чуточку грустно оттого, что там теперь многое изменилось и все это в его отсутствие; что он теперь уже не сможет ночи навылет просиживать над чертежами катерпиллерского мотора, пытаясь найти новый ход к перестройке коробки скоростей, что на его капризном и требовательном станке работает другой – наверное, этот самоуверенный Гольдшмидт; что теперь о нем, видимо, забыли, наговорив на проводах уезжавших двадцатипяти тысячников хороших, с горячинкой речей. И внезапно мысль снова переключалась на Гремячий, будто в мозгу кто-то уверенно передвигал рубильник, по-новому направляя ток размышлений. Он ехал на работу в деревню вовсе не таким уж наивным горожанином, но разворот классовой борьбы, ее путанные узлы и зачастую потаенно-скрытые формы все же представлялись ему не столь сложными, какие увидел он в первые же дни приезда в Гремячий. Упорное нежелание большинства середняков идти в колхоз, несмотря на огромные преимущества колхозного хозяйства, было ему непонятно. К познанию многих людей и их взаимоотношений не мог он подобрать ключа. Титок – вчерашний партизан и нынешний кулак и враг. Тимофей Борщев – бедняк, открыто ставший на защиту кулака. Островнов – культурный хозяин, сознательно пошедший в колхоз, и настороженно-враждебное отношение к нему Нагульнова. Все гремяченские люди шли перед мысленным взором Давыдова... И многое в них было для него непонятно, закрыто какой-то неосязаемой, невидимой завесой. Хутор был для него – как сложный мотор новой конструкции, и Давыдов внимательно и напряженно пытался познать его, изучить, прощупать каждую деталь, слышать каждый перебой в каждодневном, неустанном, напряженном биении этой мудреной машины...

Загадочное убийство бедняка Хопрова и его жены натолкнуло его на догадку о том, что какая-то скрытая пружина действует в этой машине. Он смутно догадывался, что в смерти Хопрова есть причинная связь с коллективизацией, с новым, бурно ломившимся в подгнившие стены раздробленного хозяйства. Наутро, когда были обнаружены трупы Хопрова и его жены, он долго говорил с Размётновым и Нагульновым. Те тоже терялись в догадках и предположениях. Хопров был бедняк, в прошлом – белый, к общественной жизни пассивный, каким-то боком прислонявшийся к кулаку Лапшинову. Высказанное кем-то предположение, что убили с целью грабежа, было явно нелепо, так как ничего из имущества не было взято, да у Хопрова и брать было нечего. Размётнов отмахнулся:

– Должно, обидел кого-нибудь по бабьей части. Чью-нибудь чужую жену подержал в руках, вот и решили его жизни.

Нагульнов молчал, он не любил говорить непродуманно. Но когда Давыдов высказал догадку, что к убийству причастен кто-либо из кулаков, и предложил срочно произвести выселение их из хутора, Нагульнов его решительно поддержал:

– Из ихнего стану стукнули Хопрова, без разговоров! Выселить гадов в холодные края! Размётнов посмеивался, пожимал плечами:

– Выселить их надо, слов нет. Они мешают народу в колхоз вступать. Но только Хопров не через них пострадал. Он к ним не причастный. Оно-то верно, он прислонялся к Лапшинову, постоянно работал у него, да ить это же небось не от сытости? Нуждишка придавли-

вала, вот и прибивался к Лапшинову. Нельзя же всякое дело на кулаков валить, не чудите, братцы! Нет, тут бабье дело, как хотите!

Из района приехали следователь и врач. Трупы убитых вскрыли, допросили соседей Хопрова и Лапшинова. Но следователю так и не удалось заполучить нити, ведущей к раскрытию участников и причин убийства. На другой день, 4 февраля, общее собрание колхозников единогласно вынесло постановление о выселении из пределов Северо-Кавказского края кулацких семей. Собранием утверждено было избранное уполномоченными правление колхоза, в состав которого вошли Яков Лукич Островнов (кандидатуру его ревностно поддерживали Давыдов и Размётнов, несмотря на возражения Нагульнова), Павел Любишкин, Демка Ушаков, с трудом прошел Аркашка Менок, пятым дружно, без споров избрали Давыдова. Этому способствовала полученная накануне из райполеводсоюза бумажка, в которой писалось, что райпартком, по согласованию с райполеводсоюзом, выдвигает на должность председателя правления колхоза уполномоченного райпарткома, двадцатипятилетнего товарища Давыдова.

* * *

Давыдов все еще жил у Нагульновых. Спал на сундуке, отгороженном от их супружеской кровати невысокой ситцевой занавеской. В первой комнате помещалась хозяйка – бездетная вдова. Давыдов сознавал, что стесняет Макара, но за суетой и тревогой первых дней как-то не было времени подыскать квартиру. Лушка, жена Нагульнова, была с Давыдовым неизменно приветлива, но, несмотря на это, он после того случайного разговора с Макаром, когда тот открыл ему, что жена живет с Тимофеем Рваным, относился к ней с плохо скрываемой неприязнью, тяготился своим временным пребыванием у них. По утрам Давыдов, не вступая в разговор, часто искоса посматривал на Лушку. На вид ей было не больше двадцати пяти лет. Мелкие веснушки густо крыли ее продолговатые щеки, пестрым лицом она напоминала сорочье яйцо. Но какая-то приманчивая и нечистая красота была в ее дегтярно-черных глазах, во всей сухощавой статной фигуре. Круглые ласковые брови ее всегда были чуточку приподняты, казалось, что постоянно ждет она что-то радостное; яркие губы в уголках наизготове держали улыбку, не покрывая плотно слитой подковы выпуклых зубов. Она и ходила-то, так шевеля покатыми плечами, словно ждала, что вот-вот кто-нибудь сзади прижмет ее, обнимет ее девичье узкое плечо. Одевалась как все гремяченские казачки, была, может быть, немного чистоплотней.

Как-то рано утром Давыдов, надевая ботинки, услышал голос Макара из-за перегородки:

– У меня в полушубке в кармане резинки. Ты, что ли, заказывала Семену? Он вчера приехал из станицы, велел тебе передать.

– Макарушка, взаправди? – Голос Лушки, теплый спросонок, дрогнул радостью.

Она в одной рубахе прыгнула с кровати к висевшему на гвозде мужнину полушубку, вытащила из кармана не круглые, стягивающие икры резинки, а городские, с поясом, обшитые голубым. Давыдов видел ее, отраженную зеркалом: она стояла, примеряя на своей сухого литья ноге попку, вытянув мальчишескую худую шею. Давыдов в зеркале видел излучины улыбки у ее вспыхнувших глаз, негустой румянец на веснушчатых щеках. Любуясь туго охватившим ногу черным чулком, она повернулась лицом к Давыдову, в разрезе рубахи дрогнули ее смуглые твердые груди, торчавшие, как у козы, вниз и врозь, и она тотчас же увидела его через занавеску, левой рукой медленно стянула ворот и, не отворачиваясь, шуря глаза, тягуче улыбалась. «Смотри, какая я красивая!» – говорили ее несмущающиеся глаза.

Давыдов грохнулся на заскрипевший сундук, побагровел, пятерней откинул со лба глянцеви́то-черные пряди волос: «Черт знает! Еще подумает, что я подсматривал... дернуло меня встать! Еще взбредет ей, что я интересуюсь...»

– Ты хоть при чужом человеке телешом-то не ходи, – недовольно бормотнул Макар, услышав, как Давыдов смущенно кряхтит.

– Ему не видно.

– Нет, видно.

Давыдов кашлянул за перегородкой.

– А видно, так и смотрите на доброе здоровье, – равнодушно сказала она, через голову надевая юбку. – Чужих, Макарушка, нету. Нынче чужой, а завтра, ежели захочу, мой будет. – Засмеялась и с разбегу кинулась на кровать. – Ты у меня смиреннький! Тпружень! Тпруженюшка! Телочек!..

* * *

После завтрака, едва лишь вышли за ворота, Давыдов рубанул:

– Дряннь у тебя баба!

– Тебя это не касается... – ответил Нагульнов тихо, не глядя на Давыдова.

– Тебя зато касается! Я сегодня же перехожу на квартиру, мне смотреть тошно! Такой ты парень – что надо, а с нею миндали разводишь! Сам же говорил, что она живет с Рваным.

– Бить ее, что ли?

– Не бить, а воздействовать! Но я тебе прямо скажу: вот я коммунист, но на это у меня нервы тонкие, я побил бы и выгнал к черту! А тебя она дискредитирует перед массой, и ты молчишь. Где она пропадает всю ночь? Мы с собрания приходим, а ее все нет! Я не вмешаюсь во внутренние ваши дела...

– Ты женатый?

– Нет. А вот на твою семью посмотрел – теперь до гроба не женюсь.

– У тебя на бабу вид как на собственность.

– Э, черт тебя! Анархист кривобокий! Собственность, собственность! Она же еще существует? Чего же ты ее отменяешь? Семья-то существует? А ты... на твою бабу лезут... разврат заводишь, терпимость веры. Я об этом на ячейке поставлю!.. С твоего образа пример крестьянин должен снимать. Хорош был бы пример!

– Ну, я ее убью!

– Здравствуйте!

– Ну, ты вот чего... зараз в это дело не лезь... – останавливаясь среди улицы, попросил Макар. – Я сам с этим разберусь, зараз не до этого. Ежели б это вчера началось, а то я уж обтерпелся... погожу чудок, потом... Сердцем к ней присох... А то бы давно... Ты куда идешь, в Совет? – перевел он разговор.

– Нет, хочу зайти к Островнову. Охота мне с ним в его домашнем производстве поговорить. Он умный мужик. Я хочу его завхозом устроить. Как ты думаешь? Хозяин нужен, чтобы у него колхозная копейка рублем звенела. Островнов, как видно, такой.

Нагульнов махнул рукой, осердился:

– Опять за рыбу деньги! Дался вам с Андреем Островнов! Он колхозу нужен, как архиерею это самое... Я – против. Я добьюсь его исключения из колхоза! Два года платил сельхозналог с процентной надбавкой, зажиточный, гад, до войны жил кулаком, а мы его выдвигать?

– Он – культурный хозяин! Я что же, по-твоему, кулака охраняю?

– Ежели б ему крылышки не резали, он давно бы в кулаки влетел!

Они разошлись, не договорившись, крепко недовольные друг другом.

Глава XIV

Февраль...

Жмут, корежат землю холода. В белом морозном накале встает солнце. Там, где ветры слизали снег, земля по ночам гулко лопается. Курганы в степи – как переспелые арбузы – в змеистых трещинах. За хутором возле зяблевой пахоты снежные наносы слепаще, нестерпимо блещут. Тополя над речкой все серебряного чекана. Из труб куреней по утрам строевым лесом высятся прямые оранжевые стволы дыма. А на гумнах от мороза пшеничная солома духовитей пахнет лазоревым августом, горячим дыханием суховея, летним небом...

На холодных базах до утра скитаются быки и коровы. К заре в яслях не найдешь ни одной бурьянной былки объедьев. Ягнят и козлят зимнего окота уже не оставляют на базах. Сонные бабы по ночам выносят их к матерям, а потом опять несут в подолах в угарное тепло куреней, и от козлят, от курчавой их шерсти первозданно, нежнейше пахнет морозным воздухом, разнотравьем сена, сладким козым молоком. Снег под настом – ядреная, зернистая, хрупающая соль. Полночь так тиха, так выморочно студеное небо в зыбкой россыпи многозвездья, что кажется – мир покинут живым. В голубой степи снежной целиной пройдет волк. На снегу не лягут отпечатки лапных подушек, а там, где когти вырвут обледеневший комочек наста, останется искрящаяся царапина – жемчужный след.

Ночью, если тихо заржет жеребая кобыла, чувствуя, как в черном атласном вымени ее приливает молоко, ржанье слышно окрест на много верст.

Февраль...

Предрассветная синяя тишина.

Меркнет пустынный Млечный Путь.

В темных окнах хат багрово полыхающие зарева огней: отсвет топящихся печек.

На речке под пешней хрупко позванивает лед.

Февраль...

* * *

Еще до света Яков Лукич разбудил сына и баб. Затопили печь. Сын Якова Лукича, Семен, на бруске отточил ножи. Есаул Половцев старательно обвернул портянками шерстяные чулки на ногах, надел валенки. Вместе с Семеном пошли на овечий баз. У Якова Лукича – семнадцать овец и две козы. Семен знает, какая овца окотная, у какой уже есть ягнята. Он ловит, на ощупь выбирает валухов, баранов, ярков, вталкивает в теплый катух. Половцев, сдвинув на лоб белую папаху, хватается валуха за холодную рубчатую извилину закрученного рога, валит на землю и, ложась грудью на распластанного валуха, задирает ему голову, ножом режет горло, отворяет черную ручьистую кровь.

Яков Лукич хозяйственный человек. Он не хочет, чтобы мясом его овец питался где-то в фабричной столовой рабочий или красноармеец. Они – советские, а Советская власть обижала Якова Лукича налогами и поборами десять лет, не давала возможности круто повести хозяйство, зажить богато – сытней сытого. Советская власть Якову Лукичу и он ей – враги, крест-накрест. Яков Лукич, как ребенок к огоньку, всю жизнь тянулся к богатству. До революции начал крепнуть, думал сына учить в Новочеркасском юнкерском училище, думал купить маслобойку и уже скопил было денег, думал возле себя кормить человек трех работников (тогда, бывало, даже сердце радостно замирало от сказочного, что сулила жизнь!), думалось ему, открыв торговлишку, перекупить у неудачного помещика – войскового старшины Жорова – его полузаброшенную вальцовку... В думках тогда видел себя Яков Лукич не в шароварах из чертовой кожи, а в чесучовой паре, с золотой цепочкой поперек

живота, не с мозолистыми, а с мягкими и белыми руками, с которых, как змеиная шкурка-выползень, слезут черные от грязи ногти. Сын вышел бы в полковники и женился на образованной барышне, и однажды Яков Лукич подкатил бы за ним к станции не на бричке, а на собственном автомобиле, таком, как у помещика Новопавлева... Эх, да мало ли что снилось наяву Якову Лукичу в те незабываемые времена, когда жизнь сияла и хрустела у него в руках, как радужная екатериновка! Революция дохнула холодом невиданных потрясений, шатнулась земля под ногами Якова Лукича, но он не растерялся. Со всей присущей ему трезвостью и хитрецей издала успел разглядеть надвигавшееся безвременье и быстро, незаметно для соседей и хуторян, спустил нажитое... Продал паровой двигатель, купленный в 1916 году, зарыл в кубышке тридцать золотых десятков и кожаную сумку серебра, продал лишнюю скотину, свернул посев. Подготовился. И революция, война, фронты прошли над ним, как степовой вихрь над травой: погнуть – погнул, а чтобы сломать или искалечить – этого не было. В бурю лишь тополя да дубы ломает и выворачивает с корнем, бурьян-железняк только земно клонится, стелется, а потом снова встает. Но вот «встать»-то Якову Лукичу и не пришлось! Потому-то он и против Советской власти, потому он и жил скучно, как выхолощенный бугай: ни тебе созидания, ни пьяной радости от него, потому-то теперь ему Половцев и ближе жены, роднее родного сына. Или с ним, чтобы вернуть ту жизнь, что прежде сияла и хрустела радужной сторублевкой, или и эту кинуть! Поэтому и режет четырнадцать штук овец Яков Лукич – член правления гремяченского колхоза. «Лучше выкинуть овечьи тушки вот этому черному кобелю, который у ног есаула Половцева жадно лижет дымящуюся овечью кровь, чем пустить овец в колхозный гурт, чтобы они жирели и плодились на прокорм вражеской власти! – думает Яков Лукич. – И правильно говорил ученый есаул Половцев: „Надо резать скот! Надо рвать из-под большевиков землю. Пусть дохнут быки от недосмотра, быков мы еще наживем, когда захватим власть! Быков нам из Америки и Швеции будут присылать. Голодом, разрухой, восстанием их задавим! А о кобыле не жалей, Яков Лукич! Это хорошо, что лошади обобществлены. Это нам удобно и выгодно... Когда восстанем и будем занимать хутора, лошадей проще будет вывести из общих конюшен и заседлать, нежели бегать из двора во двор искать их“. Золотые слова! Голова у есаула Половцева так же надежно служит, как и руки...»

Яков Лукич постоял у сарая, посмотрел, как Половцев и Семен орудуют, обдирая подвешенные к перерубу тушки. Фонарь «летучая мышь» ярко освещал белый отóнок овчины. Свежевать было легко. Посмотрел Яков Лукич на тушку, висевшую перерезанной шеей вниз, с завернутой, спущенной до синего пуза овчиной, глянул на валяющуюся возле корыта черную овечью голову и вздрогнул, как от удара под колени, – побледнел.

В желтом овечьем глазе с огромным, еще не потускневшим зрачком – смертный ужас. Вспомнилась Якову Лукичу жена Хопрова, ее косноязычный, страшный шепот: «Куманек!.. Родненький! За что?» Яков Лукич с отвращением глянул на овечью лилово-розовую тушу, на ее оголенные долевы пучки и связки мускулов. Острый запах крови, как тогда, вызвал припадок тошноты, заставил качнуться. Яков Лукич заспешил из сарая.

– Мяса душа не примаёт... Господи!.. И на дух не надо.

– За каким дьяволом приходил? Без тебя управимся, тонкошкурый! – улыбнулся Половцев и окровавленными пальцами, провонявшими овечьим салом, стал сворачивать сигарку.

К завтраку насилу управились. Освежеванные тушки развесили в амбаре. Бабы перетопили курдюки. Половцев затворился в горенке (днем он безвылазно находился там). Ему принесли свежих щей с бараниной, вышкварок из курдюка. Едва лишь сноха вынесла от него пустую миску, как на базу скрипнула калитка.

– Батя! Давыдов к нам, – крикнул Семен, первый увидев входившего на баз Давыдова.

Яков Лукич стал белее отсевной муки. А Давыдов уже обметал веником в сенцах ботинки, гулко кашлял, шел, уверенно, твердо переставляя ноги.

«Пропал! – думал Яков Лукич. – Ходит-то, сукин сын! Будто всей земле хозяин! Будто по своему куреню идет! Ох, пропал! Небось за Никиту рестовать, дознался, вражина».

Стук в дверь, сильный тенорок:

– Разрешите войти?

– Входите. – Яков Лукич хотел сказать громко, но голос съехал на шепот.

Давыдов постоял и отворил дверь. Яков Лукич не встал из-за стола (не мог! и даже дрожащие, обессилевшие ноги поднял, чтобы не слышно было, как каблуки чириков дробно выстукивают по полу).

– Здравствуй, хозяин!

– Здравствуйте, товарищ! – в один голос ответили Яков Лукич и его жена.

– Мороз на дворе...

– Да, морозно.

– Рожь не вымерзнет, как думаешь? – Давыдов полез в карман, достал черный, как прах, платочек; хороня его в кулаке, высморкался.

– Проходите, товарищ, садитесь, – приглашал Яков Лукич.

«Чего он испугался, чужак?» – удивился Давыдов, заметивший, как побледнел хозяин, как губы его едва шевелились, объятые дрожью.

– Так как рожь-то?

– Нет, не должно бы... снегом ее прихоронило... Может, там прихватит, где сдуло снежок.

«Начинает с жита, а зараз небось скажет: „Ну, собирайся!“ Может, про Половцева кто донес? Обыск?» – думал Яков Лукич. Он понемногу оправлялся от испуга, к лицу разом прихлынула кровь, из пор выступил пот, покатился по лбу, на седоватые усы, на колючий подбородок.

– Гостем будете, проходите в горницу.

– Я зашел потолковать с тобой. Как имя-отчество-то?

– Яков, сын Лукин.

– Яков Лукич? Так вот, Яков Лукич, ты очень хорошо, толково говорил на собрании о колхозе. Конечно, ты прав, что колхозу нужна и сложная машина. Вот насчет организации труда ты ошибнулся, факт! Думаем тебя заведующим хозяйством выдвинуть. Я о тебе слышал как о культурном хозяине...

– Да вы проходите, дорогой товарищ! Гаша, постави самоварчик. Али вы, может, щец похлебаετε? Али арбуз соленный разрезать? Проходите, дорогой гость наш! К новой жизни нас... – Яков Лукич захлебнулся от радости, с плеч у него будто гору сняли. – Культурно хозяйствовал, верно вы сказали. Темных наших от дедовской привычки хотел отворотить... Как пашут! Грабют землю! Похвальный лист от окружного ЗУ имею. Семен! Приноси похвальный лист, что в рамку заведенный. Да мы и сами пройдем, не надо.

Яков Лукич повел гостя в горницу, неприметно мигнув Семену. Тот понял, вышел в коридор замкнуть горенку, где отсиживался Половцев, заглянул туда и испугался: горенка пустовала. Семен сунулся в зал. Половцев в одних шерстяных чулках стоял возле двери в горницу. Он сделал знак, чтобы Семен вышел, приложил к двери хрящеватое, торчмя, как у хищного зверя, поставленное ухо. «Бесстрашный, черт!» – подумал Семен, выходя из зала.

Зимой большой холодный зал в островновском курене был нежилым. На крашеном полу в одном из углов из года в год ссыпали конопляное семя. Рядом с дверью стояла кадушка с мочеными яблоками. Половцев присел на край кадушки. Ему было слышно каждое слово разговора. В запущенные изморозью окна точился розовый сумеречный свет. У Половцева зябли ноги, но он сидел не шевелясь, с щемящей ненавистью вслушиваясь в осипший тенорок врага, отделенного от него одною дверью. «Охрип, собака, на своих митингах! Я бы

тебя... Ах, если бы можно было сейчас!» Половцев прижимал к груди набухавшие отечной кровью кулаки, ногти вонзались в ладони.

За дверью:

— Я вам так скажу, дорогой наш руководитель колхоза: негоже нам хозяйствовать по-старому! Взять хучь бы жито. Через чего вымерзает и приходится на десятину, это красно, ежели пудов двадцать, а то и семена не выручают многие? А у меня — завсегда не проломишься меж колосу. Бывало, выеду, оседламши, на своей кобылке и поверх луки колосья связываю. Да и колос — на ладони не уляжется. Все это через то, что снег придерживал, землю поил. Иной гражданин подсолнух режет под корень — жадуе: все, мол, на топку сгодится. Ему, сукину сыну, на базу кизек летом нарезать некогда, лень вперед него родилась, залипает ему, а того не разумеет, что будылья, ежели резать одни шляпки на подсолнухе, будут снег держать, промеж них ветер не разгуляется, снег не унесет в яры. На весну такая земля лучше самой глубокой зяби. А не держи снег, он потает зря, жировой водой сольет, и нету от него ни человеку, ни земле пользы.

— Это, конечно, верно.

— Мне, товарищ Давыдов, наша кормилица, Советская власть, не зря похвальный лист преподнесла! Я знаю что и к чему. Оно и агрономы кое в чем прошибаются, но много и верного в ихней учености. Вот, к примеру, выписывал я агрономовский журнал, и в нем один дюже грамотный человек из этих, какие студентов обучают, писал, что, мол, жито даже не мерзнет, а гибнет через то, что голая земля, на какой нету снежной одежины, лопаются и вместе с собой рвет коренья.

— А, это интересно! Я не слышал про это.

— И верно он пишет. Согласуюсь с ним. Даже сам для проверки спытывал. Вырою и гляжу: махонькие и тонкие, как волоски, присоски на корню, самое какими пророщенное зерно из земли черную кровь тянет, кормится через какие, — лопнутые, порватые. Нечем кормиться зерну, оно и погибнет. Человеку жилы перережь — не будет же он на свете жить? Так и зерно.

— Да, Яков Лукич, это ты фактически говоришь. Надо снег держать. Ты мне дай эти агрономические журналы почитать.

«Тебе не пригодится! Не успеешь. Короткая тебе мера отмерена в жизни!» — улыбался Половцев.

— Или вот как на зяби снег держать? Щиты надо. Я уж и щит такой придумал из хвороста... с ярами надо воевать, они у нас земли отымают каждый год больше тыщи десятин.

— Все это верно. Ты вот скажи, как нам лучше помещения для скота утеплить. Чтобы и дешево и сердито получилось, а?

— Базы-то? Это мы все и сделаем! Баб надо заставить плетни обмазать — это раз. А нет, так можно промеж двух плетнев сухого помету насыпать...

— Да-а-а... А вот как насчет протравки?

Половцев хотел устроиться на кадушке половчее, но крышка скользнула из-под него, упала с грохотом. Половцев скрипнул зубами, услышав, как Давыдов спросил:

— Что это упало там?

— Должно, кто что-нибудь свалил. Мы там зимой не живем, топки много уходит... а вот хочу вам показать породную коноплю. Выписанная. Она у нас в энтой зале зимует. Проходите.

Половцев прыжком метнулся к выходу в коридор, дверь, заблаговременно смазанная гусиным жиром, не скрипнула, бесшумно выпустила его...

Давыдов вышел от Якова Лукича с пачкой журналов под мышкой, довольный результатами посещения и еще более убежденный в полезности Островнова. «Вот с такими бы можно в год перевернуть деревню! Умный мужик, дьявол, начитанный. А как он знает хозяй-

ство и землю! Вот это квалификация! Не понимаю, почему Макар на него косится. Факт, что он принесет колхозу огромную пользу!» – думал он, шагая в сельсовет.

Глава XV

С легкой руки Якова Лукича каждую ночь стали резать в Гремячем скот. Чуть стемнеет, и уже слышно, как где-нибудь приглушенно и коротко заблеет овца, предсмертным визгом просверлит тишину свинья или мыкнёт телка. Резали и вступившие в колхоз, и единоличники. Резали быков, овец, свиней, даже коров; резали то, что оставлялось на завод... В две ночи было ополовинено поголовье рогатого скота в Гремячем. По хутору собаки начали таскать кишки и требушки, мясом наполнились погреба и амбары. За два дня еповский²⁸ ларек распродал около двухсот пудов соли, полтора года лежавшей на складе. «Режь, теперь оно не наше!», «Режьте, все одно заберут на мясозаготовку!», «Режь, а то в колхозе мясца не придется кусануть!» – полез черный слушок. И резали. Ели невпроворот. Животами болели все, от мала до велика. В обеденное время столы в куренях ломились от вареного и жареного мяса. В обеденное время у каждого – масляный рот, всяк отрыгивает, как на поминках; и от пьяной сытости у всех посовелые глаза.

Дед Щукарь в числе первых подвалил телку-летошницу. Вдвоем со старухой хотели подвесить ее на переруб, чтобы ловчее было свежевать; мучились долго и понапрасну (тяжела оказалась нагулявшая жиру телка!), старуха даже поясницу свихнула, поднимая задок телушки, и неделю после этого накидывала ей на спину чугунок бабка-лекарка. А дед Щукарь на следующее утро сам настряпал и, то ли от огорчения, что окалечилась старуха, то ли от великой жадности, так употребил за обедом вареной грудинки, что несколько суток после этого обеда с база не шел, мешочных штанов не застегивал и круглые сутки пропал по великому холоду за сараем, в подсолнухах. Кто мимо Щукаревой полуразваленной хатенки ходил в те дни, видел: торчит, бывало, дедов малахай на огороде, среди подсолнечных будыльев, торчит, не шелохнется; потом и сам дед Щукарь из подсолнухов вдруг окажется, заковыляет к хате, не глядя на проулок, на ходу поддерживая руками незастегнутые штаны. Измученной походкой, еле волоча ноги, дойдет до воротцев и вдруг, будто вспомнив что-то неотложное, повернется, дробной рысью ударится опять в подсолнухи. И снова недвижно и важно торчит из будыльев дедов малахай. А мороз давит. А ветер пушит на огороде поземкой, наметая вокруг деда стоячие острокрышие сугробы...

Размётнов на вторые сутки, к вечеру, как только узнал о том, что убой скота принял массовый характер, прибежал к Давыдову.

– Сидишь?

– Читаю. – Давыдов завернул страницу небольшой желтоватой книжки, раздумчиво улыбнулся. – Вот, брат, книжка, – дух захватывает! – засмеялся, ощеря щербатый рот, раскинув куцые сильные руки.

– Романы читаешь! Либо песенник какой. А в хуторе...

– Дура! Дура! Романы! Какие там песенники! – Давыдов, похохатывая, усадил Андрея на табурет против себя, ткнул в руки книжку. – Это же доклад Андреева на ростовском парт-активе. Это, брат, десять романов стоит! Факт! Начал читать и вот шамануть забыл, зачитался. Э, черт, досадно... Теперь все, наверно, застыло. – На смугловатое лицо Давыдова пали досада и огорчение. Он встал, уныло подсмыкнул короткие штаны; сунув руки в карманы, пошел в кухню.

– Ты меня-то будешь слушать? – ожесточаясь, спросил Размётнов.

– А то как же! Конечно буду. Сейчас.

Давыдов принес из кухни глиняную чашку с холодными шами, сел. Он сразу откусил огромный кус хлеба, прожевывая, гонял по-над розоватыми скулами желваки, молча

²⁸ ЕПО – Единое потребительское общество.

установился на Размётнова устало прижмуренными серыми глазами. На щах сверху застыли оранжевые блестящие-круговины говяжьего жира, красным пламенем посвечивал плавающий стручок горчицы²⁹.

– С мясом щи? – ехидно спросил Андрей, указывая на чашку обкуренным пальцем. Давыдов, давась и напряженно улыбаясь, довольно качнул головой.

– А откуда мяско?

– Не знаю. А что?

– А то, что половину скотины перерезали в хуторе.

– Кто? – Давыдов повертел ломоть хлеба и отодвинул его.

– Черти! – Шрам на лбу Размётнова побагровел. – Председатель колхоза! Гиганту строишь! Твои же колхозники режут, вот кто! И единоличники. Перебесились! Режут наповал все, и даже, сказать, быков режут!

– Вот у тебя привычка... орать, как на митинге... – принимаясь за щи, досадливо сказал Давыдов. – Ты мне спокойно и толком расскажи, кто режет, почему.

– А я знаю – почему?

– А ты всегда с ревом, с криком... Глаза закрыть – и вот он, родненький, семнадцатый годок.

– Небось заревешь!

Размётнов рассказал, что знал, о начавшемся убое скота. Под конец Давыдов ел, почти не прожевывая, шутиловость как рукой с него сняло, около глаз собрались расщепы морщин, и лицо как-то словно постарело.

– Сейчас же иди и созывай общее собрание. Нагульнова... А впрочем, я сам зайду к нему.

– Чего созывать-то?

– Как чего? Запретим резать скот! Из колхоза будем гнать и судить. Это же страшно важно, факт! Это опять кулак нам палку в колеса! Ну, на – закуривай и валяй... Да, кстати, я и забыл похвалиться.

По лицу Давыдова побежала, тепля глаза, счастливая улыбка, радости он не мог скрыть, как ни пробовал сурово есть губы.

– Получил я сегодня посылку из Ленинграда... Да, посылочку от ребят... – Он нагнулся, вытащил из-под кровати ящик и, багровый от удовольствия, поднял крышку.

В ящике беспорядочно лежали пачки папирос, коробка печенья, книги, деревянный с резьбой портсигар, еще что-то в пакетиках и свертках.

– Товарищи вспомнили, прислали вот... Это, брат, наши папироски, ленинградские... Даже вот, видишь, шоколад, а на кой он мне? Надо чьей-нибудь детворе... Ну, да тут важен факт, а не это. Верно? Главное – вспомнили, прислали, и письмо вот есть...

Голос Давыдова был необычно мягок; таким растерянно-счастливым Андрей видел товарища Давыдова впервые. Волнение его, неведомо как, передалось и Размётнову. Желая сказать приятное, он буркнул:

– Ну и хорошо. Ты – парень славный, вот, стало быть, и послали. Тут, гляди, не на один рубль добра наложено.

– Дело не в этом! Ты же понимаешь, я, черт его подери, вроде безродного: ни жены, никого, факт! А тут – хлоп, и вот она, посылка. Трогательный факт... В письме, смотри, сколько подписей. – Давыдов в одной руке протягивал коробку папирос, в другой держал письмо, испещренное многочисленными подписями. Руки его дрожали.

Размётнов закурил ленинградскую папиросу, спросил:

²⁹ Горчицей на Дону называют красный перец.

– Ну как, ты доволен новой квартирой? Хозяйка – ничего? Насчет стирки как устроился? Ты либо матери, что ли, принес бы постирать, а? Или с хозяйкой договорился бы... Рубашка на тебе – шашкой не прорубишь, и потом разит, как от морёного коня.

Давыдов порозовел, вспыхнул:

– Да, есть такое дело... У Нагульнова жил, как-то неудобно там... Что зашить – это я сам, и стирал как-то тоже сам. А так вообще я еще с приезда не мылся, это факт. И фуфайка тоже... Мыла тут нет в ларьке, просил уже хозяйку, а она говорит: «Мыла дайте». Напишу ребятам, чтобы прислали стирального. А квартира ничего, детей нет, можно без помехи читать и вообще...

– Так ты принеси матери, она стирает. Ты, пожалуйста, не стесняйся. Она у меня старуха добрая.

– С этим обойдусь, не беспокойся, спасибо. Надо баню сделать для колхоза, вот это да! Устроим, факт! Ну, ступай, организуй собрание.

Размётнов, покурив, ушел. Давыдов бесцельно переложил в посылке пакетики, вздохнул, поправил растянувшийся ворот желто-бурой, загрязнившейся фуфайки и, пригладив черные, зачесанные вверх волосы, стал одеваться.

По пути зашел к Нагульнову. Тот встретил его, хмуря разлтые брови, глядя в сторону.

– Скотину режут... Жалко стало собственности. Такая в мелком буржуе идет смятения – слов не найдешь, – забормотал он, поздоровавшись. И сейчас же строго повернулся к жене. – Ты, Гликерья, выйди зараз же отсель. Посиди трошки у хозяйки, я при тебе гутарить не в силах.

Грустная с виду, Лушка вышла в кухню. Все эти дни, после того как с кулацкими семьями уехал и Тимофей Рваный, она ходила как в воду опущенная. Под опухшими глазами ее – печальная озерная синь; нос и тот заострился, как у неживой. Видно, тяжело пало на сердце расставание с милым. Тогда, на проводах кулаков, уезжавших в студеные полярные края, она открыто, не стыдясь, битый день слонялась возле борщевского двора, поджидая Тимофея. И когда на́вечер из Гремячего тронулись подводы с кулацкими семьями и пожитками, она крикнула дурным, кликушеским криком, забилась на снегу. Тимофей было кинулся к ней от подводы, но Фрол Рваный вернул его грозным окликом. Ушел за подводой Тимофей, часто оглядываясь на Гремячий, покусывая белые от жаркой ненависти губы.

Будто листы на тополе, отроптали ласковые Тимофеевы слова, – видно, не слышать уж больше их Лушке. Как же бабочке не сохнуть от тоски-немочи, как не убиваться! Кто теперь скажет ей, с любовью засматривая в глаза: «Вам эта зеленая юбка до того под стать, Луша! Вы в ней позвончее офицерши старого времени». Иль словами бабьей песенки: «Ты прости-прощай, красавица. Красота твоя мне очень нравится». Только Тимофей мог лестью и сердечным бесстыдством ворохнуть Лушкину душеньку.

Мужа она с того дня вовсе зачужалась. А Макар тогда говорил спокойно, веско и необычайно много:

– Живи у меня остатние деньки, доживай. А потом собирай свои огарки, резинки и склянки с помадой и жарь куда хошь. Я, любя тебя, много стыдобы перетерпел, а зараз разорвало мое терпенье! С кулацким сыном путалась – я молчал. А уж ежели ты при всем колхозном сознательном народе по нем в слезы ударилась, нету больше моего терпенья! Я, девка, с тобой не то что до мировой революции не дотяну, а вовсе могу с катушек долой. Ты мне в жизни – лишний выюк на горбу. Скидаю я этот выюк! Поняла?

– Поняла, – ответила Лушка и притихла.

Вечером тогда был у Давыдова с Макаром сокровенный разговор.

– Обмарала тебя баба в доску! Как ты теперь будешь перед колхозной массой глазами моргать, Нагульнов?

– Ты опять за старое...

– Колода ты! Сычуг бычий! – У Давыдова шея багровела, вспухали жилы на лбу.

– С тобою как говорить-то? – Нагульнов ходил по комнате, похрустывал пальцами, тихо, с лукавинкой улыбался. – Чуть не туда скажешь, и ты зараз же на крюк цепляешь: «Анархист! Уклонщик!» Ты знаешь, как я на бабу взглядываю и через какую надобность терпел такое смывание? Я уж тебе, никак, говорил, у меня не об ней думки. Ты об овечьем курюке думал что-нибудь?

– Не-е-ет... – ошарашенный неожиданным оборотом Макаровой речи, протянул Давыдов.

– А вот я думал: к чему бы овце курюк, приваренный от природы? Кажись, не к чему. Ну, конь али кобель – энти хвостом мух отгоняют. А овце навесили восемь фунтов жиру, она и трясет им, мухи отогнать не может, жарко ей летом от курюка, орепьи за него хватаются...

– При чем тут курюк, хвосты разные? – Давыдов начинал тихо злиться.

Но Нагульнов невозмутимо продолжал:

– Это ей приделано, по-моему, чтобы стыд закрыть. Неудобно, а куда же на ее месте денешься? Вот и мне баба, жена то есть, нужна, как овце курюк. Я весь заостренный на мировую революцию. Я ее, любушку, жду... А баба мне – тьфу, и больше ничего. Баба так, между прочим. Без ней тоже нельзя, стыд-то надо прикрыть... Мужчина я в самом прыску, хучь и хворый, а между делом могу и соответствовать. Ежели она у меня на передок слабая, да прах ее дери! Я ей так и сказал: «Ветрийся, ежели нужду имеешь, но гляди, в подоле не принеси или хворости не захвати, а то голову набок сверну!» А вот ты, товарищ Давыдов, ничего этого не понимаешь. Ты – как железный аршин-складень. И к революции не так ты прислухаешься... Ну, чего ты меня за бабий грех шпыняешь? У ней и для меня хватит, а вот что с кулаком связалась и кричала по нем, по классовой вражине, за это она – гада, и я ее – что не видно – сгоню с базу. Бить же я ее не в силах. Я в новую жизнь вступаю и руки поганить не хочу. А вот ты небось побил бы, а? А тогда какая же будет разница между тобой, коммунистом, и, скажем, прошедшим человеком, каким-нибудь чиновником? Энти завсегда жен били. То-то и оно! Нет, брат, ты перестань со мной об Лушке гутарить. Я сам с ней рассчитаюсь, ты в этом деле лишний. Баба – это дело дюже сурьезное! От нее многое зависит. – Нагульнов мечтательно улыбнулся и с жаром продолжал: – Вот как поломаем все границы, я первый шумну: «Валяйте, женитесь на инакокровных!» Все посмешаются, и не будет на белом свете такой страмоты, что один телом белый, другой желтый, а третий черный, и белые других цветом ихней кожи попрекают и считают ниже себя. Все будут личиками приятно смуглявые и все одинаковые. Я и об этом иной раз ночами думаю...

– Живешь ты как во сне, Макар! – недовольно сказал Давыдов. – Многое мне в тебе непонятное. Расовая рознь – это так, а вот остальное... В вопросах быта я с тобой не согласен. Ну да черт с тобой! Только я у тебя больше не живу. Факт!

Давыдов вытащил из-под стола чемодан (глухо загремели в нем бездельно провалявшиеся инструменты), вышел. Нагульнов проводил его на новую квартиру, к бездетному колхознику Филимонову. Тогда всю дорогу до филимоновского база они проговорили о посеве, но вопросов семьи и быта больше уже не касались. Еще ощутичее стал холодок в их взаимоотношениях с той поры...

Вот и на этот раз Нагульнов встретил Давыдова, все как-то посматривая вкось и вниз, но после того, как Лушка вышла, заговорил оживленнее:

– Режут скотину, гады! Готовы в три горла жрать, лишь бы в колхоз не сдавать. Я вот что предлагаю: нынче же вынести собранием ходатайство, чтобы злостных резачков расстрелять!

– Что-о-о?

– Расстрелять, говорю. Перед кем это надо хлопотать об расстреле? Народный суд не сможет, а? А вот как шлепнули бы парочку таких, какие стельных коров порезали, остальные небось поочухались бы! Теперь надо со всей строгостью.

Давыдов кинул на сундук кепку, зашагал по комнате. В его голосе были недовольство и раздумье.

– Вот опять ты загинаешь... Беда с тобой, Макар! Ну, ты подумай: разве можно за убой коровы расстреливать? И законов таких нет, факт! Было постановление ЦИК и Совнаркома, и на этот счет там прямо сказано: на два года посадить, лишить земли можно, зlostных выселять из края, а ты – ходатайствовать об расстреле. Ну, право, ты какой-то...

– Какой-то! Никакой я! Ты все примеряешься да плануешь. А на чем будем сеять? На каком... ежели не вступившие в колхоз быков пережуют?

Макар подошел к Давыдову вплотную, положил ладони на его широкие плечи. Он был почти на голову выше Давыдова; поглядывая на него сверху, заговорил:

– Сема! Жаль ты моя! Чего у тебя мозга такая ленивая? – И почти закричал: – Ить пропадем мы, ежели с посевом не управимся! Неужели не понимаешь? Надо бесприменно расстрелять двоих-троих гадов за скотину! Кулаков надо расстрелять! Ихние дела! Просить надо высшие власти!

– Дурак!

– Вот опять я вышел дурак... – Нагульнов понуро опустил голову и тотчас же вскинул ее, как конь, почувствовавший шенкеля; загремел: – Всё порежут! Время подошло позиционное, как в гражданскую войну, враг кругом ломится, а ты! Загубите вы, такие-то, мировую революцию!.. Не приспееет она через вас, тугодумщиков! Там кругом буржуи рабочий народ истязают, красных китайцев в дым уничтожают, всяких черных побивают, а ты с врагами тут нежничаешь! Совестно! Стыдоба великая! В сердце кровя сохнут, как вздумаешь о наших родных братьях, над какими за границами буржуи измываются. Я газеты через это самое не могу читать!.. У меня от газетов все в нутре переворачивается! А ты... Как ты думаешь о родных братах, каких враги в тюрьмах гноят! Не жалеешь ты их!..

Давыдов страшно засопел, взъерошил пятерней маслено-черные волосы.

– Черт тебя! Как так не жалеешь? Факт! И не ори, пожалуйста! Сам псих и других такими делаешь! Я в войну ради Лушкиных глаз, что ли, с конторой расправлялся? Чего ты предлагаешь? Опомнись! Нет речи о расстреле! Ты бы лучше массовую работу вел, разъяснял нашу политику, а расстрелять – это просто! И вот ты всегда так! Чуть неустойка, и ты сейчас падаешь в крайность, факт! А где ты был до этого?

– Там же, где и ты!

– В том-то и факт! Проморгали все мы эту кампанию, а теперь надо исправлять, не о расстрелах говорить! Хватит тебе истерики закатывать! Работать берись! Барышня, черт! Хуже барышни, у которой ногти крашеные!

– У меня они кровью крашенные!

– У всех так, кто без перчаток воевал, факт!

– Семен, как ты можешь меня барышней прозывать?

– Это к слову.

– Возьми это слово обратно, – тихо попросил Нагульнов.

Давыдов молча посмотрел на него, засмеялся:

– Беру. Ты успокойся, и пойдем на собрание. Надо здорово агитнуть против убоя!

– Я вчера целый день по дворам шлялся, уговаривал.

– Это – хороший метод. Надо пройти еще, да всем нам.

– Вот опять ты... Я вчера только с базу выхожу, думаю: «Ну, кажись, уговорил!» Выйду и слышу: «Куви-и-и, куви-и-и!» – подсвинок какой-нибудь уж под ножом визжит. А я гаду-собственнику до этого час говорил про мировую революцию и коммунизм! Да как гово-

рил-то! Ажник самого до скольких разов слеза прошибала от трогательности. Нет, не уговаривать их надо, а бить по головам да приговаривать: «Не слухай кулака, вредный гад! Не учись у него собственности! Не режь, подлюга, скотину!» Он думает, что он быка режет, а на самом деле он мировой революции нож в спину сажает!

– Кого бить, а кого и учить, – упорствовал Давыдов.

Они вышли на баз. Порошила мокрая метель. Липкие снежные хлопья крыли застарелый снег, таяли на крышах. В аспидной темени добрались до школы. На собрание пришла только половина гремлянцев. Размётнов прочитал Постановление ЦИК и Совнаркома «О мерах борьбы с хищническим убоем скота», потом держал речь Давыдов. В конце он прямо поставил вопрос:

– У нас есть, граждане, двадцать шесть заявлений о вступлении в колхоз. Завтра на собрании будем разбирать их, и того, кто поддался на кулацкую удочку и порезал скот перед тем, как вступить в колхоз, мы не примем, факт!

– А ежели вступившие в колхоз режут молодняк, тогда как? – спросил Любишкин.

– Тех будем исключать!

Собрание ахнуло, глухо загудело.

– Тогда распускайте колхоз! Нету в хуторе такого двора, где бы скотиняки не резали! – крикнул Борщев.

Нагульнов насыпался на него, потрясал кулаками:

– Ты, цыц, подкулачник! В колхозные дела не лезь, без тебя управимся! Ты сам не зарезал бычка-третьяка?

– Я своей скотине сам хозяин!

– Вот я тебя завтра приправлю на отсидку, там похозяйствуешь!

– Строго дюже! Дюже строго устанавливаете! – орал чей-то сиплый голос.

Собрание было хоть и малочисленно, но бурно. Расходясь, хуторцы помалкивали и, только выйдя из школы и разбившись на группы, на ходу стали обмениваться мнениями.

– Черт меня дернул зарезать двух овец! – жаловался Любишкину колхозник Куженков Семен. – Вы эту мясу теперь из горла вынете...

– Я, парень, сам опаскудился, прирезал козу... – тяжело вздыхал Любишкин. – Теперь моргай перед собранием. Ох ты, с этой бабой! Втравила в грех, туды ее в голень! «Режь да режь». Мяса ей захотелось! Ах ты, анчибел³⁰ в юбке! Приду зараз и выбью ей бубну!

– Следует, следует поучить, – советовал сват Любишкина – престарелый дед Бесхлебнов Аким. – Тебе, сваток, вовсе неловко, ты ить колхозный член.

– То-то и есть, – вздыхал Любишкин, в темноте смахивая с усов налипшие хлопья снега, спотыкаясь о кочки.

– А ты, дедушка Аким, рябого быка, кубыть, тоже зарезал? – покашливая, спросил Демка Ушаков, живший с Бесхлебновым по соседству.

– Зарезал, милый. Да и как его не зарезать? Сломал бык ногу, сломал, окаянный, рябой! На погребницу занесла его нечистая сила, провалился в погреб и сломал ногу.

– То-то я на зорьке видел, как ты со снохой хворостинами направляли его на погребницу...

– Что ты? Что ты, Дементий! Окстись! – испугался дед Аким и даже стал среди проулка, часто моргая в беспросветной ночной темени.

– Пойдем, пойдем, дедок, – успокаивал его Демка. – Ну, чего стал, как врытая соха? Загнал быка-то в погреб...

– Сам зашел, Дементий! Не грехи. Ох, грех великий!

³⁰ Анчибел – черт.

– Хитер ты, а не хитрее быка. Бык – энтот языком под хвост достает, а ты небось не умеешь так, а? Думал: «Окалечу быка, и взятки гладки»?

Над хутором бесновался влажный ветер. Шумовито гудели над речкой в левадах тополя и вербы. Черная – глаз коли – наволочь крыла хутор. Придушенные сыростью, по проулкам долго звучали голоса. Валил снег. Зима вытряхала последние озимки...

Глава XVI

С собрания Давыдов пошел с Размётновым. Снег бил густо, мокро. В темноте кое-где поблескивали огоньки. Собачий брех, разорванный порывами ветра, звучал по хутору тоскливо и неумолчно. Давыдов вспомнил рассказ Якова Лукича о снегозадержании, вздохнул: «Нет, в нынешнем году не до этого. А сколько вот в такую метель снегу легло бы на пашнях! Просто жалко даже, факт!»

– Зайдем в конюшню, поглядим на колхозных коней, – предложил Размётнов.

– Давай.

Свернули в проулок. Вскоре показался огонек: возле лапшиновского сennика, приспособленного под конюшню, висел фонарь. Вошли во двор. Около дверей в конюшню, под навесом, стояло человек восемь казаков.

– Кто нынче дневалит? – спросил Размётнов.

Один из стоявших затушил о сапог сигарку, ответил:

– Кондрат Майданников.

– А почему тут народу много? Что вы тут делаете? – поинтересовался Давыдов.

– Так, товарищ Давыдов... Стоим, обчий кур устраиваем...

– Сено вечером привозили с гумна.

– Стали покурить да загутарились. Метель думаем переждать.

В разгороженных станках мерно жуют лошади. Запахи пота, конского кала и мочи смешаны с легким, парящим духом степного полынистого сена. Против каждого станка, на деревянных рашках³¹, висят хомут, шлея или постромки. Проход чисто выметен и слегка присыпан желтым речным песком.

– Майданников! – окликнул Андрей.

– Аю! – отозвался голос в конце конюшни.

Майданников на навильнике нес беремя житной соломы. Он зашел в четвертый от дверей станок, ногою поднял улегшегося вороного коня, раструсил солому.

– Повернись! Че-е-орт! – зло крикнул он и замахнулся держакон навильника на придремавшего коня.

Тот испуганно застукотел, засучил ногами по деревянному полу, зафыркал и потянулся к яслям, передумав, как видно, ложиться. Кондрат подошел к Давыдову, весь пропитанный запахом конюшни и соломы, протянул черствую холодную ладонь.

– Ну как, товарищ Майданников?

– Ничего, товарищ председатель колхоза.

– Чтой-то ты уж больно официально: «товарищ председатель колхоза»... – Давыдов улыбнулся.

– Я зараз при исполнении обязанностей.

– Почему народ возле конюшни толчется?

– Спросите сами их! – В голосе Кондрата послышалась озлобленная досада. – Как на ночь метать коням, так и их черт несет. Народ никак не может отрешиться от одиночества. Это все хозяева сидят! Приходят: «А моему гнедому положил сена?», «А буланому постелил?», «Кобылка моя тут целая?» А куда же, к примеру, его кобыленка денется? В рот я ее запхну, что ли? Все лезут, просят: «Дай подсоблю наметать коням!» И всяк норovit своему побольше сенца кинуть... Беда! Надо постановление вынести, чтобы лишний народ тут не околачивался.

– Слыхал? – Андрей подмигнул Давыдову, сокрушенно покачал головой.

³¹ Рашки – вбитые в стену деревянные развилины, на которые вешают сбрую.

– Гони всех отсюда! – суровая, приказал Давыдов. – Чтобы, кроме дежурного и помощников, никого не было! Сена по сколько даешь? Весишь дачу?

– Нету. Не вешаю. На глазок, с полпуда на животину.

– Стелешь всем?

– Да что, ей-богу! – Кондрат яростно потряхнул буденновкой, на смуглый стоян его шеи, на воротник приношенного зипуна посыпались мягкие ости. – Завхоз наш, Островнов Яков Лукич-то, ноне перед вечером был, говорит: «Стели коням объедья». Да разве это порядки? Ить он, черт, лучшим хозяином почитается, а такую чушь порет!

– А что?

– Да как же, Давыдов! Объедья – все начисто едовые. Полынок промеж них, он мелкий, съестной, или бурьянина: все это овцы, козы дотла съедят, переберут, а он приказывает на подстилку коням гатить! Я ему было сказал насупротив, а он: «Не твое дело мне указывать!»

– Не стели объедьев. Правильно! А мы ему завтра хвост наломаем! – пообещал Давыдов.

– И ишо одно дело: расчали прикладок, какой возля колодезя склади. К чему, спрашивается?

– Мне Яков Лукич говорил, что это сено похуже. Он хочет дрянненькое зимою скормить, а хорошее оставить к пахоте.

– Ну, когда так, это верно, – согласился Кондрат. – А насчет объедьев ему скажите.

– Скажу. На вот, закуривай ленинградскую папироску... – Давыдов кашлянул. – Прислали мне товарищи с завода... Лошади-то все здоровы?

– Благодарствую. Огонька дайте... Кони все справные. Прошедшую ночь завалился наш виноходец, бывший лапшиновский, доглядели. А так все в порядке. Вот один есть чертяка, никак не ложится. Всю ночь, говорят, простаивает. Завтра на передки будем всех перековывать. Сколизь была, шипы начисто посъел ледок. Ну, прощевайте. Я ишо не всем постелил.

Размётнов пошел проводить Давыдова. Разговаривая, прошли они квартал, но на повороте к квартире Давыдова Размётнов остановился против база единоличника Лукашки Чебакова, тронул плечо Давыдова, шепнул:

– Гляди!

Около калитки – в трех шагах от них – чернела фигура человека. Размётнов вдруг быстро подбежал, левой рукой схватил человека, стоявшего по ту сторону калитки, в правой стиснул рукоять нагана.

– Ты, Лука?

– Никак, это вы, Андрей Степанович?

– Что у тебя в правой руке? А ну отдай! Живо!

– Да что вы? Товарищ Размётнов!

– Отдай, говорят! Вдарю!..

Давыдов подошел на голоса, близоруко шурясь.

– Что ты у него отбираешь?

– Отдай, Лука! Выстрелю!

– Да возьмите, чего вы сбесились-то?

– Вот он с чем стоял у калиточки! Эх ты! Ты это для чего же с ножом ночью стоишь? Ты это кого ждал? Не Давыдова? Зачем, спрашиваю, с финкой стоял? Контра? Убивцем захотел стать!

Только острые охотничьи глаза Андрея могли разглядеть в руке стоявшего около калитки человека белое лезвие ножа. Он и бросился обезоруживать. И обезоружил. Но когда

стал, задыхаясь, допрашивать ошaleвшего Лукашку, тот открыл калитку, изменившимся голосом сказал:

– Уж коли вы так дело поворачиваете, я не могу промолчать! Вы меня в чем не надо подозревать можете, упаси бог, Андрей Степаныч! Пройдемте.

– Куда это?

– В катух.

– Зачем это?

– Поглядите, и все вам станет ясное, зачем я с ножом на проулок выглядал...

– Пойдем посмотрим, – предложил Давыдов, первым входя на Лукашкин баз. – Куда идти-то?

– Пожалуйте за мной.

В катухе, внутри заваленном обрушившимся прикладом кизяка, стоял на табурете зажженный фонарь, возле него на корточках сидела жена Лукашки – красивая полноликая и тонкобровая баба. Она испуганно встала, увидя чужих, заслонила собой стоявшие возле стены две цибарки с водой и таз. За нею в самом углу, на чистой соломе, как видно только посланной, топтался сытый боров. Опустив голову в огромную лохань, он чавкал, пожирая помой.

– Видите, какая беда... – указывая на кабана, смущенно, бессвязно говорил Лукашка. – Борова надумали потихоньку заколоть... Баба его прикармывает, а я только хотел валять его, резать, слышу – гомонят где-то на проулке. Дай-ка, думаю, выйду, гляну, не ровен час, кто услышит. Как был я с засученными рукавами и при фартуке и при ноже, так и вышел к калитке. И вы – вот они! А вы на меня что подумали? Разве же человека резать при фартуке и с засученными рукавами выходят? – Лукашка, снимая фартук, смущенно улыбнулся и с сдержанной злостью крикнул на жену: – Ну, чего стала, дуреха? Выгони борова!

– Ты не режь его, – несколько смущенный, сказал Размётнов. – Зараз собрание было, нету дозволения скотину резать.

– Да я и не буду. Всю охоту вы мне перебили...

Давыдов вышел и до самой квартиры подтрунивал над Андреем:

– Покушение на жизнь председателя колхоза отвлратил! Контрреволюционера обезоружил! Аника-воин, факт! Хо-хо-хо!..

– Зато кабану жизнь спас, – отшучивался Размётнов.

Глава XVII

На следующий день на закрытом собрании гремяченской партячейки было единогласно принято решение обобществить весь скот: как крупный гулевой, так и мелкий, принадлежащий членам гремяченского колхоза. Кроме скота, было решено обобществить и птицу.

Давыдов вначале упорно выступал против обобществления мелкого скота и птицы, но Нагульнов решительно заявил, что если на собрании колхозников не провести решения об обобществлении всей живности, то весенняя посевная будет сорвана, так как скот весь будет перерезан, и заодно и птица. Его поддержал Размётнов, и, поколебавшись, Давыдов согласился.

Помимо этого, было решено и занесено в протокол собрания: развернуть усиленную агитационную кампанию за прекращение злостного убоя, для чего в порядке самообязательства все члены партии должны были отправиться в этот же день по дворам. Что касается судебных мероприятий по отношению к избличенным в убое, то пока решено было их не применять ни к кому, а подождать результатов агиткампании.

– Так-то скотина и птица посохранней будет. А то к весне ни бычьего мыку, ни кочетинного крику в хуторе не услышишь, – говорил обрадованный Нагульнов, пряча протокол в папку.

Колхозное собрание охотно приняло решение насчет обобществления всего скота, поскольку рабочий и молочнопродуктивный уже был обобществлен и решение касалось лишь молодняка да овец и свиней, – но по поводу птицы возгорелись долгие прения. Особенно возражали бабы. Под конец их упорство было сломлено. Способствовал этому в огромной мере Нагульнов. Это он, прижимая к ордену свои длинные ладони, проникновенно говорил:

– Бабочки, дорогие мои! Не тянитесь вы за куриями, гусями! На спине не удержались, а уж на хвосте и подавно. Пушай и куры колхозом живут. К весне выпишем мы кубатор, и, заместо квочков, зачнет он нам выпускать цыпляток сотнями. Есть такая машина – кубатор, она высиживает цыплятков преотлично. Пожалуйста, вы не упирайтесь! Они ваши же будут куры, только в общем дворе. Собственности куриной не должно быть, дорогие тетушки! Да и какой вам от курей прок! Все одно они зараз не несутся. А к весне с ними суеты вы не оберетесь. То она, курица то есть, вскочит на огород и рассаду выклюет, то глядишь, а она – трижды клятая – яйцо где-нибудь под амбаром потеряет, то хорь ей вязы отвернет... Мало ли чего с ней может случиться? И кажин раз вам надо в курятник лазить, щупать, какая с яйцом, а какая холостая. Полезешь и наберешься куриных вшей, заразы. Одна сухота с ними и сердцу остуда. А в колхозе как они будут жить? Распрекрасно! Догляд за ними будет хороший: какого-нибудь старика вдового, вот хоть бы дедушку Акима Бесхлебнова, к ним приставим, и пушай он их целый день щупает, по нашестам полозиеет. Дело и веселое и легкое, и самое стариковское. На таком деле грыжу сроду не наживешь. Приходите, милушки мои, в согласие.

Бабы посмеялись, повздыхали, посудачили и «пришли в согласие».

Сейчас же после собрания Нагульнов и Давыдов тронулись в обход по дворам. С первого же квартала выяснилось, что убойна есть доподлинно в каждом дворе... К обеду заглянули и к деду Щукарю.

– Активист он, говорил сам, что скотиняк беречь надо. Этот не зарежет, – уверял Нагульнов, входя на щукаревский баз.

«Активист» лежал на кровати, задрав ноги. Рубаха его была завернута до свалывшейся в клочья бородавки, а в тощий бледный живот, поросший седой гривастой шерстью, ост-

рыми краями вонзилась опрокинутая вверх дном глиняная махотка, вместимостью литров в шесть. По бокам пиявками торчали две аптекарские банки. Дед Щукарь не глянул на вошедших. Руки его, скрещенные на груди, как у мертвого, – дрожали, вылезшие из орбит, осумасшедшие от боли глаза медленно вращались. Нагульнову показалось, что в хате и воняет-то мертвежиной. Дородная Щукариха стояла у печи, а около кровати сутилась проворная, черная, как мышь, лекарка – бабка Мамычиха, широко известная в округе тем, что умела ставить банки, накидывать чугуны, костоправить, отворять и заговаривать кровь и делать аборт железной вязальной спицей. Она-то в данный момент и «пользовалась» несчастного деда Щукаря.

Давыдов вошел и глаза вытаращил:

– Здравствуй, дед! Что это у тебя на пузе?

– Стррррра-даю! Жжжжи-вотом!.. – в два приема с трудом выговорил дед Щукарь. И тотчас же тоненьким голосом заголосил, заскулил по-щенячьи: – С-сыми махотку! Сыми, ведьма! Ой, живот мне порвет! Ой, родненькие, ослобоните!

– Терпи! Терпи! Зараз полегчает, – шепотом уговаривала бабка Мамычиха, тщетно пытаясь оторвать край махотки, всосавшийся в кожу.

Но дед Щукарь вдруг зарычал лютым зверем, лягнул лекарку ногой и обеими руками вцепился в махотку. Тогда Давыдов поспешил ему на выручку: схватив с пригрубка деревянное скало, он оттолкнул старушонку, махнул скалом по днищу махотки. Та рассыпалась, со свистом рванулся из-под черепков воздух, дед Щукарь утробно икнул, облегченно, часто задышал, без труда сорвал банки. Давыдов глянул на дедов живот, торчавший из-под черепков огромным посинелым пупом, и упал на лавку, давясь от бешеного приступа хохота. По щекам его текли слезы, шапка свалилась, на глаза нависли пряди черных волос.

Живуч оказался дед Щукарь! Едва лишь бабка Мамычиха запричитала над разбитой махоткой, он опустил рубаху, приподнялся.

– Головушка ты моя горькая! – навзрыд голосила бабка. – Разбил, нечистый дух, посудину! Таковских вас лечить, и добра не сдохь!

– Удались, бабка! Сей момент удались отседова! – Щукарь указывал рукой на дверь. – Ты меня чудок жизни не решила! Об твою бы головешку этот горшок надо разбить! Удались, а то до смертоубийства могу дойтить! Я на эти штуки отчаянный!

– С чего это тебе подеялось? – спросил Нагульнов, едва лишь за Мамычихой захлопнулась дверь.

– Ох, сынки, кормильцы, верите: было пропал во-взят. Двое суток с базу не шел, так штаны в руках и носил... Такой понос у меня открылся – удержу нет! Кубыть, прохудился я, несло, как из куршивого гусенка: кажин секунд...

– Мяса обтрескался?

– Мяса...

– Телушку зарезал?

– Нету уж телушечки... Не в пользу она мне пошла...

Макар крякнул, ненавидяще оглядел деда, процедил:

– Тебе бы, черту старому, надо не махотку на живот накинуть, а трехведерный чугунок! Чтобы он всего тебя с потрохом втянул! Вот выгоним из колхоза, тогда не так тебя понесет! Зачем зарезал?

– Грех попутал, Макарушка... Старуха уговорила, а ночная кукушка – она перекукует завсегда... Вы смилуйтесь... Товарищ Давыдов! Приятели мы с вами были, вы меня не увольняйте из колхозу. Я и так пострадамши за свое доброе...

– Ну, чего ты с него возьмешь? – Нагульнов махнул рукой. – Пойдем, Давыдов. Ты, хвороба! Ружейного масла с солью намешай и выпей, рукой сымет.

Дед Щукарь обиженно задрожал губами:

– Надсмешку строишь?

– Верно говорю. Мы в старой армии от живота этим спасались.

– Я что же, железный, что ли? Чем бездушную ружье чистют, тем и я должен пользоваться? Не буду! Лучше помру в подсолнухах, а масла не приму!

На другой день, не успевши помереть, дед Щукарь уже ковылял по хутору и каждому встречному рассказывал, как в гости к нему приходили Давыдов с Нагульниковым, как они спрашивали его советов насчет ремонта к посевной инвентаря и прочих колхозных дел. В конце рассказа дед выдерживал длительную паузу, сворачивая сигарку, вздыхал:

– Трошки прихворнул я, и вот они уж пришли. Неуправка без меня у них. Лекарства всякие предлагали. «Лечись, говорят, дедушка, а то, не дай бог греха, помрешь, и мы пропадем без тебя!» И пропадут, истинный Христос! То чуть чего – зовут в ичейку: глядишь, что-нибудь и присоветую им. Уж я редко гутарю, да метко. Мое слово небось мимо не пройдет! – И поднимал на собеседника выцветшие ликующие глазки, угадывая, какое впечатление произвел рассказ.

Глава XVIII

И снова заколобродил притихший было Гремячий Лог... Скот перестали резать. На общественные базы двое суток гнали и тянули разношерстных овец и коз, в мешках несли кур. Стон стоял по хутору от скотиньего рева и птичьего гогота и крика.

В колхозе числилось уже сто шестьдесят хозяйств. Были созданы три бригады. Якова Лукича правление колхоза уполномочило раздавать бедноте – нуждающейся в одежде и обуви – кулацкие полушубки, сапоги и прочие носильные вещи. Произвели предварительную запись. Оказалось, что всех удовлетворить правление было не в состоянии.

На Титковом базу, где Яков Лукич распределял конфискованную кулацкую одежду, до потемок стоял неумолчный гул голосов. Тут же, возле амбара, прямо на снегу разувались, примеряя добротную кулацкую обувь, натягивая поддевки, пиджаки, кофты, полушубки. Счастливы, которым комиссия определила выдать одежду или обувь в счет будущей выработки, прямо на амбарной приклетке телешились и, довольно крикая, сияя глазами, светлея смуглыми лицами от скупых, дрожащих улыбок, торопливо комкали свое старое, латаное-перелатаное веретье, облачались в новую справу, сквозь которую уже не просвечивало тело. А уж перед тем как взять что-либо, сколько было разговоров, советов, высказываемых сомнений, ругани... Любишкину Давыдов распорядился выдать пиджак, шаровары и сапоги. Хмурый Яков Лукич вытащил из сундука ворох одежды, метнул под ноги Любишкину:

– Выбирай на совесть.

Дрогнули у атаманца усы, затряслись руки... Уж он выбирал-выбирал пиджак – сорок потов с него сошло! Попробует сукно на зуб, поглядит на свет: не побили ли шашел или моль, минут десять мнет в черных пальцах. А кругом жарко дышат, гомонят:

– Бери, ишо детям достанется донашивать.

– Да где глаза-то у тебя! Не видишь – перелицованное.

– Брешешь!

– Сам стрескай!

– Бери, Павло!

– Не бери, померяй другой!

У Любишкина лицо – красная обожженная кирпичина, жует он черный ус, затравленно озирается, тянется к другому пиджаку. Выберет. Всеми статьями хорош пиджак! Сунет длиннейшие свои руки в рукава, а они по локоть, трещат швы в плечах. И снова, смущенно и взволнованно улыбаясь, роется в ворохе одежды. Разбегаются глаза, как у малого дитяти на ярмарке перед обилием игрушек; на губах такая ясная, детская улыбка, что впору бы кому-нибудь отечески погладить саженного атаманца Любишкина по голове. Так за полдня и не выбрал. Шаровары и сапоги надел, хмурому Якову Лукичу сказал, проглотив воздух:

– Завтра уж прийду примерять.

С база пошел в новых шароварах с лампасами, в сапогах с рыпом, помолодевший сразу лет на десять. Нарочно вышел на главную улицу, хотя было ему и не под дорогу, на проулках часто останавливался, то закурить, то со встречным погударить. Часа три шел до дому, хвалился, и к вечеру уже по всему Гремячему шел слух: «Там Любишкина нарядили, как на службу! Ноне целый день выбирал одежи... Во всем новом домой шел, шаровары на нем праздничные. Как журавель выступал, небось ног под собою не чуял...»

Жененка Демки Ушакова обмерла над сундуком, насилу отпихнули. Надела сборчатую шерстяную юбку, некогда принадлежавшую Титковой бабе, сунула ноги в новые чирюхи, покрылась цветастой шалькой, и только тогда кинулось всем в глаза, только тогда разглядели, что Демкина жененка вовсе не дурна лицом и собою бабочка статна. А как же ей, сер-

дыге, было не обмереть над колхозным добром, когда она за всю свою горчайшую жизнь доброго куска ни разу не съела, новой кофтенки на плечах не износила? Как же можно было не побледнеть ее губам, выцветшим от постоянной нужды и недоеданий, когда Яков Лукич вывернул из сундука копну бабьих нарядов? Из года в год рожала она детей, заворачивая сосунков в истлевшие пеленки да в поношенный овчинный лоскут. А сама, растерявшая от горя и вечных нехваток былую красоту, здоровье и свежесть, все лето исхаживала в одной редкой, как сито, юбчонке; зимою же, выстирав единственную рубашу, в которой кишмя кишела вошь, сидела вместе с детьми на печи голая, потому что нечего было переменить...

– Родимые!.. Родименькие!.. Погодите, я, может, ишо не возьму эту юбку... Сменяю... Мне, может, детишкам бы чего... Мишатке... Дунюшке... – исступленно шептала она, вцепившись в крышку сундука, глаз пылающих не сводя с многоцветного вороха одежды.

У Давыдова, случайно присутствовавшего при этой сцене, сердце дрогнуло... Он протискался к сундуку, спросил:

– Сколько у тебя детей, гражданочка?

– Семеро... – шепотом ответила Демкина жена, от сладкого ожидания боясь поднять глаза.

– У тебя тут есть детское? – негромко спросил Давыдов у Якова Лукича.

– Есть.

– Выдай этой женщине для детей все, что она скажет.

– Жирно ей будет!..

– Это еще что такое?.. Ну?.. – Давыдов злобно ощерил щербатый рот, и Яков Лукич торопливо нагнулся над сундуком.

Демка Ушаков, обычно говорливый и злой на язык, стоял позади жены, молча облизывая сохнувшие губы, затаив дыхание. Но при последних словах Давыдова он взглянул на него... Из косых Демкиных глаз, как сок из спелого плода, вдруг брызнули слезы. Он сорвался с места, побежал к выходу, левой рукой расталкивая народ, правой – закрывая глаза. Спрыгнув с приклетка, Демка зашагал с база, стыдясь, пряча от людей свои слезы. А они катились из-под черного щитка ладони по щекам, обгоняя одна другую, светлые и искрящиеся, как капельки росы.

К вечеру на дележ приспел и дед Щукарь. Он вломился в дом правления колхоза, еле переводя дух, – к Давыдову:

– Здорово живете, товарищ Давыдов! Живенького вас видеть.

– Здравствуй.

– Напишите мне бланку.

– Какой бланк?

– Бланку на получку одежи.

– Это за что же тебе одежину справлять? – Нагульнов, сидевший у Давыдова, поднял разлтые брови. – За то, что телушку зарезал?

– Кто старое вспомянет, Макарушка, глаз ему долой, знаешь? Как так – за что? А кто пострадал, когда Титка раскулачивали? Мы с товарищем Давыдовым. Ему хоть голову пробили, это пустяковина, а мне кобель-то шубу как произвел? Одни обмотки на ноги из шубы получились! Я же страдалец за Советскую власть, и мне, значит, не надо? Пущай бы лучше мне Титок голову на черепки поколол, да шубы не касался. Шуба-то старухина ай нет? Она, может, меня за шубу со света сживет, тогда как? Ага, то-то и оно!

– Не бегал бы, и шуба целая была.

– Как так не бегал бы? А ты слыхал, Макарушка, что Титкова баба-яга сотворила? Она травила на меня кобеля, шумела: «Узы его! Бери его, Серко! Он тут самый вредный!» Вот и товарищ Давыдов может подтвердить.

– Хоть ты и старик, а брешешь как сивый мерин!

– Товарищ Давыдов, подтвердите!

– Я что-то не помню...

– Истинный Христос, так она шумела! Ну, страх в глазах, я, конечно, и тронулся с база. Кабы он, кобель, был как все протчие собаки, а то тигра, ажник страшнее!

– Никто на тебя кобеля не травил, выдумляешь!

– Макарушка, ты же не помнишь, соколик! Ты сам тогда так испужался, что на тебе лица не было, где уж там тебе помнить! Я ишо тогда, грешник, подумал: «Зараз Макар вдарится бечь!» А меня-то как кобель потягал по базу – я все это до нитки помню! Ежели б не кобель, Титку бы из моих рук живым не выйти, забожусь! Я – отчаянный!

Нагульнов сморщился, как от зубной боли, сказал Давыдову:

– Напиши ему скорее, нехай метется.

Но дед Щукарь на этот раз был больше, чем когда-либо, склонен к разговору.

– Я, Макарушка, смолоду, бывало, на кулачках любого...

– Ох, не балабонь, слышали тебя! Тебе, может, написать, чтобы чугунок ведерный выдали? Живот-то чем будешь лечить?

Кровно обиженный, дед Щукарь молча взял записку, вышел, не попрощавшись. Но, получив из рук Якова Лукича просторный дубленый полушубок, вновь пришел в отличное расположение духа. Глазки его сыто жмурились, ликовали. Щепоткой, как соль из солонки, брал он полу полушубка, поднимал ее наотлет, словно юбку баба, собравшаяся переходить через лужу, – цокал языком, хвалился перед казаками:

– Вот он, полушубочек-то! Своим горбом заработал. Всем известно: Титка когда мы раскулачивали, он и напади с занозой на товарища Давыдова. Пропадет, думаю, мой приятель! Сей момент же кинулся на выручку, как герой, отбил! Не будь меня – труба бы Давыдову!

– А гутарили, кубыть ты от кобеля побег да упал, а он тебе и зачал, как свинье, ухи рвать, – вставил кто-то из слушателей.

– Брехня! Ить вот какой народ пошел: согнут, не паримши! Ну что там кобель? Кобель, он тварь глупая и паскудная. Никакого глагола не разумеет... – И дед Щукарь искусно переводил разговор на другую тему.

Глава XIX

Ночь...

На север от Гремячего Лога, далеко-далеко за увалами сумеречных степных гребней, за логами и балками, за сплошняками лесов – столица Советского Союза. Над нею – полноводье электрических огней. Их трепетное голубое мерцание заревом беззвучного пожарища стоит над многоэтажными домами, затмевая ненужный свет полуночного месяца и звезд.

Отделенная от Гремячего Лога полутора тысячами километров, живет и ночью, закованная в камень, Москва: тягуче-призывно режут паровозные гудки, переборами огромной гармонии звучат автомобильные сирены, лязгают, визжат, скрегохотут трамваи. А за ленинским Мавзолеем, за Кремлевской стеной, на вышнем холодном ветру, в озаренном небе трепещет и свивается полотнище красного флага. Освещенное снизу белым накалом электрического света, оно кипуче горит, струится, как льющаяся алая кровь. Коловертью кружит вышний ветер, поворачивает на минуту тяжело обвисающий флаг, и он снова взвивается, устремляясь концом то на запад, то на восток, пылает багровым полымем восстаний, зовет на борьбу...

Два года назад, ночью, Кондрат Майданников, бывший в то время в Москве, на Всероссийском съезде Советов, пришел на Красную площадь. Глянул на Мавзолей, на победно сияющий в небе красный флаг и торопливо сдернул с головы буденновку. С обнаженной головой, в распахнутом домотканом зипуне, стоял долго и недвижимо...

В Гремячем же Логу ночью стынет глухая тишина. Искрятся пустынные окрестные бугры, осыпанные лебяжьим пухом молодого снега. В балках, на сучьях, по бурьянам пролиты густо-синие тени. Почти касается горизонта дышло Большой Медведицы. Черной свечой тянется к тягостно высокому черному небу раина³², растущая возле сельсовета. Звенит, колдовски бормочет родниковая струя, стекая в речку. В текучей речной воде ты увидишь, как падают отцветившие миру звезды. Вслушайся в мнимое безмолвие ночи, и ты услышишь, друг, как заяц на кормежке гложет, скоблит ветку своими желтыми от древесного сока зубами. Под месяцем неярко светится на стволе вишни янтарный натек замерзшего клея. Сорви его и посмотри: комочек клея, будто вызревшая нетронутая слива, покрыт нежнейшим дымчатым налетом. Изредка упадет с ветки ледяная корочка – ночь укутает хрустальный звяк тишиной. Мертвенно-недвижны отростки вишневых веток с рубчатыми серыми сережками на них; зовут их ребятишки «кукушкиными слезами»...

Тишина...

И только на зорьке, когда с севера, из-под тучи, овеяв снег холодными крылами, прилетит московский ветер, зазвучат в Гремячем Логу утренние голоса жизни: зашуршат в левадах голые ветви тополей, зачиргикают, перекликаясь, зазимовавшие возле хутора, кормившиеся ночью на гумнах куропатки. Они улетят дневать в заросли краснобыла, на песчаные склоны яров, оставив возле мякинников на снегу вышитую крестиками лучевую россыпь следов, накопы соломы. Замычат телята, требуя доступа к матерям, яростней вскличутся обобществленные кочета, потянет над хутором терпко-горьким кизячным дымком.

А пока полегла над хутором ночь, наверное, один Кондрат Майданников не спит во всем Гремячем. Во рту у него горько от табаку-самосаду, голова – как гиря, от курева тошнит...

Полночь. И мнится Кондрату ликующее марево огней над Москвой, и видит он грозный и гневный мах алого полотнища, распростертого над Кремлем, над безбрежным миром, в котором так много льется слез из глаз вот таких же трудяг, как и Кондрат, живущих за гра-

³² Раина – пирамидальный тополь.

ницами Советского Союза. Вспоминаются ему слова покойной матери, сказанные как-то, с тем чтобы осушить его ребячьи слезы:

– Не кричи, милушка Кондрат, не гневай бога. Бедные люди по всему белому свету и так кажин день плачут, жалуются богу на свою нужду, на богатых, какие все богатство себе забрали. А бог бедным терпеть велел. И вот он огневается, что бедные да голодные все плачут да плачут, и возьмет соберет ихни слезы, исделает их туманом и кинет на синие моря, закутает небо невидью. Вот тут-то и начинают блудить по морям корабли, потерявши свою водяную дорогу. Напхнется корабль на морской горюч камень и потонет. А не то господь росой исделает слезы. В одну ночь падет соленая роса на хлеба по всей земле, нашей и чужедальней, выгорят от слезной горечи хлебные злаки, великий голод и мор пойдет по миру... Стало быть, кричать бедным никак нельзя, а то накричишь на свою шею... Понял, родимушка? – И сурово кончила: – Молись богу, Кондратка! Твоя молитва скорей долетит.

– А мы бедные, маманя? Папаня бедный? – спрашивал маленький Кондрат свою богомольную мать.

– Бедные.

Кондрат падал на колени перед темным образом староверского письма, молился и досуха тер глаза, чтобы сердитому богу и слезинки не было видно.

Лежит Кондрат, как сетную дель, перебирает в памяти прошлое. Был он по отцу донским казаком, а теперь – колхозник. Много передумал за многие и длинные, как степные шляхи, ночи. Отец Кондрата, в бытность его на действительной военной службе, вместе со своей сотней порол плетью и рубил шашкой бастовавших иваново-вознесенских ткачей, защищая интересы фабрикантов. Умер отец, вырос Кондрат и в 1920 году рубил белополяков и врангелевцев, защищая свою Советскую власть, власть тех же иваново-вознесенских ткачей, от нашествия фабрикантов и их наймитов.

Кондрат давно уже не верит в бога, а верит в коммунистическую партию, ведущую трудящихся всего мира к освобождению, к голубому будущему. Он свел на колхозный баз всю скотину, всю – до пера – отнес птицу. Он – за то, чтобы хлеб ел и траву топтал только тот, кто работает. Он накрепко, неотрывно прирос к Советской власти. А вот не спится Кондрату по ночам... И не спится потому, что осталась в нем жалость-гадюка к своему добру, к собственной худобе, которой сам он добровольно лишился... Свернулась на сердце жалость, холодит тоской и скукой...

Бывало, прежде весь день напролет у него занят: с утра мечет корм быкам, корове, овцам и лошади, поит их; в обеденное время опять таскает с гумна в вахлях³³ сено и солому, боясь потерять каждую былку, на ночь снова надо убирать. Да и ночью по несколько раз выходит на скотиний баз, проводывать, подобрать в ясли наметанное под ноги сенцо. Хозяйской заботой радуется сердце. А сейчас пусто, мертво у Кондрата на базу. Не к кому выйти. Порожние стоят ясли, распахнуты хворостяные ворота, и даже кочетиного голоса не слышно за всю долгую ночь; не по чем определить время и течение ночи.

Только тогда смывается скука, когда приходится дежурить на колхозной конюшне. Днем же норовит он уйти поскорее из дому, чтобы не глядеть на страшно опустелый баз, чтобы не видеть скорбных глаз жены.

Вот сейчас она спит с ним рядом, дышит ровно. На печке Христишка мечется, сладко чмокает губами, лопочет во сне: «Батяня, потихонечку!.. Потихонечку, потихонечку...» Во сне она, наверное, видит свои особые, светлые, детские сны; ей легко живется, легко дышится. Ее радует порожняя спичечная коробка. Она возьмет и смастерит из нее сани для своего тряпичного кукленка. Санями этими будет забавляться до вечера, а грядущий день улыбнется ей новой забавой.

³³ Вахли – веревочная сетка для носки сена.

У Кондрата же свои думки. Бьется он в них, как засетившаяся рыба... «Когда же ты меня покинешь, проклятая жаль? Когда же ты засохнешь, вредная чертяка?.. И с чего бы это? Иду мимо лошадиных станков, чужие кони стоят, – мне хоть бы что, а как до своего дойду, гляну на его спину с черным ремнем до самой репки, на меченое левое ухо, и вот засосет в грудях, – кажись, он мне роднее бабы в эту минуту. И все норовишь ему послаже сенца кинуть, попыреистой, помельче. И другие так-то: сохнет всяк возле своего, а об чужих и – бай дюже. Ить нету зараз чужих, все наши, а вот так оно... За худобой не хотят смотреть, многим она обчужала... Вчера дежурил Куженков, коней сам не повел поить, послал парнишку; энтот сел верхи; погнал весь табун к речке в намёт. Напилась какая, не напилась – опять захватил в намёт и – до конюшни. И никому не скажи супротив, оскалываются: „Га-а-а, тебе больше всех надо!“ Все это оттого, что трудно наживалось. У кого всего по ноздри, энтому небось не так жалко... Не забыть сказать завтра Давыдову, как Куженков коней поил. С таким доглядом лошадюка к весне и борону с места не стронет. Поглядеть завтра утрецом, как курей доглядают, – бабы брехали, что, кубыть, штук семь уж издохли от тесноты. Ох, трудно! И зачем зараз птицу сводить? Хучь бы по кочегу на двор оставить заместо часов... В еповской лавке товару нету, а Христиша босая. Хучь кричи – надо ей чиричонки бы! Совесть зазревает спрашивать у Давыдова... Нет, нехай уж эту зиму перезимует на пече, а к лету они ей не нужны». Кондрат думает о нужде, какую терпит строящая пятилетку страна, и сжимает под дерюжкой кулаки, с ненавистью мысленно говорит тем рабочим Запада, которые не за коммунистов: «Продали вы нас за хорошую жалованью от своих хозяев! Променили вы нас, братушки, на сытую жизнь!.. Через чего до се нету у вас Советской власти? Через чего вы так припозднились? Ежели б вам погано жилось, вы бы теперича уж революцию сработали, а то, видно, ишо жареный кочет вас в зад не клюнул; всё вы чухаетесь, никак не раскочаетесь, да как-то недружно, шатко-валко идете... А клюнет он вас! До болятки клюнет!.. Али вы не видите через границу, как нам тяжело подымать хозяйство? Какую нужду мы терпим, полубосые и полуголые ходим, а сами зубы сомкнем и работаем. Совестно вам будет, братушки, прийти на готовенькое! Исделать бы такой высокий столб, чтобы всем вам видать его было, взлезть бы мне на макушку этого столба, то-то я покрыл бы вас матерным словом!..» Кондрат засыпает. Из губ его валится сигарка, прожигает большую черную дыру на единственной рубаше. Он просыпается от ожога, встает; шепотом ругаясь, шарит в темноте иголку, чтоб зашить дыру на рубаше, а то Анна утром доглядит и будет за эту дыру точить его часа два... Иголки он так и не находит. Снова засыпает.

На заре, проснувшись, выходит на баз до ветру и вдруг слышит диковинное: обобществленные, ночующие в одном сарае кочета ревут одновременно разноголосым и мощным хором. Кондрат, удивленно раскрыв опухшие глаза, минуты две слушает сплошной, непрекращающийся кочетиный крик и, когда торопливо затихает последнее, запоздавшее «ку-ке-кууу», сонно улыбается: «Ну и орут, чертовы сыны! Чисто – духовая музыка. Кто возля ихнего пристанища живет, сну, покою лишится. А раньше то в одном конце хутора, то в другом. Ни складу, ни ладу... Эт, жизня!» – и идет дозревывать.

* * *

Утром, позавтракав, он направляется на птичий двор. Дед Аким Бесхлебнов встречает его сердитым окриком:

- Ну, чего шляешься ни свет ни заря?
- Тебя да курей проведать пришел. Как живешь-могешь, дед?
- Жил, а зараз – не дай и не приведи!
- Что так?

– Служба при курах искореняет!

– Чем же это?

– А вот ты побудь тут денек, тогда узнаешь! Анафены кочета целый день стражаются, от ног отстал, за ними преследуя. На что уж куры, кажись, бабьего полу, и энти схватют одна другую за хохол – и пошел по базу! Пропади она пропадом, такая служба! Нынче же пойду к Давыдову увольняться, отпрошусь к пчелам.

– Они свыкнутся, дед.

– Покеда они свыкнутся, дед ноги протянет. Да разве ж это мужинское дело? Я ить как-никак, а казак, в турецкой канпании участвовал. А тут – изволь радоваться – над курами главнокомандующим поставили. Два дня как заступил на должность, а от ребятишков уж проходу нету. Как иду домой, они, враженьяты, перевстревают, орут: «Дед курошуп! Дед Аким курошуп!» Был всеми уважаемый, да чтобы при старости лет помереть с кличкой курошупа? Нету моего желания!

– Брось, дедушка Аким! С ребятишек какой вопрос?

– Кабы они одни, ребятишки, дурили, а то и бабы к ним иные припрягаются. Вчера иду домой полудновать. Возля колодезя Настёнка Донецковых стоит, воду черпает. «Управляешься с курами, дед?» – спрашивает. «Управляюсь», – говорю. «А несутся какие курочки, дед?» – «Несутся, говорю, мамушка, да что-то плохо». А она, кобыляка калмыцкая, как заиржет: «Гляди, говорит, чтоб к пахоте кошелку яиц нанесли, а то самого тебя заставим курей топтать!» Стар я такие шутки слушать. И должность эта дюже обидна!

Старик хотел еще что-то сказать, но возле плетня грудь в грудь ударились кочета, у одного из гребня цевкой свистнула кровь, у другого с зоба вылетело с пригоршню перьев. Дед Аким рысцой затрусил к ним, на бегу вооружившись хворостиной.

В правлении колхоза, несмотря на раннее утро, было полно народу. Во дворе, возле крыльца, стояла пара лошадей, запряженных в сани, поджидая Давыдова, собравшегося ехать в район. Оседланный лапшиновский иноходец рыл ногою снег, а около топтался, подтягивая подпруги, Любишкин. Он тоже готовился к поездке в Тубянской, где должен был договориться с тамошним правлением колхоза насчет триера.

Кондрат вошел в первую комнату. За столом рылся в книгах приехавший недавно из станицы счетовод. Осунувшийся и хмурый за последнее время, Яков Лукич что-то писал, сидя напротив. Тут же толпились колхозники, назначенные нарядчиком на возку сена. Бригадир третьей бригады рябой Агафон Дубцов и Аркашка Менок о чем-то спорили в углу с единственным в хуторе кузнецом, Ипполитом Шалым. Из соседней комнаты слышался резкий и веселый голос Размётнова.

Он только что пришел; торопясь и посмеиваясь, рассказывал Давыдову:

– Приходят ко мне спозаранок четыре старухи. Коноводит у них бабка Ульяна, мать Мишки Игнатенка. Знаешь ты ее? Нет? Старуха такая, пудов на семь весом, с бородавкой на носу. Приходят. Бабка Ульяна – буря бурей, не сдышится от гнева, ажник бородавка на носу подсигивает. И с места намётом: «Ах ты, такой-сякой, разэтакий!» У меня в Совете народ, а она матюгается. Я ей, конечно, строго говорю: «Заткнись и прекрати выражение, а то отправлю в станицу за оскорбление власти. Чего ты, спрашиваю, взъерилась?» А она: «Вы чего это над старухами мудруете? Как вы можете над нашей старостью смываться?» Насилу дознался, в чем дело. Оказывается, прослыхали они, будто бы всех старух, какие к труду не способные, каким за шестьдесят перевалило, правление колхоза определит к весне... – Размётнов надулся, удерживая смех, закончил: – Будто бы за недостаточей паровых машин, какие насиживают яйца, старух определяют на эту работенку. Они и взбесились. Бабка Ульяна и орет как резаная: «Как! Меня на яйца сажать? Нету таких яиц, на какие бы я села. И вас всех чапельником побью, и сама утоплюсь!» Насилу их урезонил. «Не топись, говорю, бабка Ульяна, все одно в нашей речке воды тебе не хватит утопнуть. Все это –

брехня, кулацкие сказки». Вот какие дела, товарищ Давыдов! Распускают враги брехню, тормоз нам делают. Начал допрашивать, откедова слухом пользовались, дознался: с Войскового монашка позавчера пришла в хутор, ночевала у Тимофея Борщева и рассказывала им, что, мол, для того и курей собирают, чтобы в город всех отправить на лапшу, а старухам, дескать, такие стульцы поделают, особого фасону, соломки постеляют и заставляют яйца насиживать, а какие будут бунтоваться, энтих, мол, к стулу будут привязывать.

— Где эта монашка зараз? — с живостью спросил присутствовавший при разговоре Нагульнов.

— Умелась. Она не глупая: сбредет — и ходу дальше.

— Таких сорок чернохвостых надо арестовывать и по принадлежности направлять. Не попалась она мне! Завязал бы ей на голове юбку да плетюганов всыпал... А ты — председатель Совета, а в хуторе у тебя ночует кто хочешь. Тоже порядочки!

— Черт за ними за всеми углядит!

Давыдов, в тулупе поверх пальто, сидел за столом, в последний раз просматривая утвержденный колхозным собранием план весенних полевых работ; не поднимая глаз от бумаги, он сказал:

— Клевета на нас — старый прием врага. Он, паразит, — все наше строительство хочет обмарать. А мы ему иногда козырь в руки даем, вот как с птицей...

— Чем это такое? — Нагульнов раздул ноздри.

— Тем самым, что пошли на обобществление птицы.

— Неверно!

— Факт, верно! Не надо бы нам на мелочи размениваться. У нас вон еще семенной материал не заготовлен, а мы за птицу взялись. Такая глупость! Я сейчас локоть бы себе укусил... А в райкоме мне за семфонд хвост наломают, факт! Прямо-таки неприятный факт...

— Ты скажи, почему птицу-то не надо обобществлять? Собрание-то согласилось?

— Да не в собрании дело! — Давыдов поморщился. — Как ты не поймешь, что птица — мелочь, а нам надо решать главное: укрепить колхоз, довести процент вступивших до ста, наконец, посеять. И я, Макар, серьезно предлагаю вот что: мы политически ошиблись с проклятой птицей, факт, ошиблись! Я сегодня ночью прочитал кое-что по поводу организации колхозов и понял, в чем ошибка: ведь у нас колхоз, то есть артель, а мы на коммуны потянули. Верно? Это и есть левый уклон, факт! Вот ты и подумай. Я бы на твоём месте (ты провел это и нас сагитировал) с большевистской смелостью признал бы эту ошибку и приказал разобрать кур и прочую птицу по домам. А? Ну, а если ты не сделаешь, то сделаю я на свою ответственность, как только вернусь. Я поехал, до свиданья.

Нахлобучил кепку, поднял высокий, провонявший нафталином воротник кулацкого тулупа, сказал, увязывая папку:

— Всякие же монашки недобитые ходят, и вот ну болтать про нас — женщин, старушек вооружать против. А колхозное дело такое молодое и страшно необходимое. Все должны быть за нас! И старушки, и женщины. Женщина тоже имеет свою роль в колхозе, факт! — И вышел, широко и тяжело ступая.

— Пойдем, Макар, курей разгонять по домам. Давыдов правильные слова говорил.

Размётнов, выжидая ответа, долго смотрел на Нагульнова... Тот сидел на подоконнике, распахнув полушубок, вертел в руках шапку, беззвучно шевелил губами. Так прошло минуты три. Голову поднял Макар разом, и Размётнов встретил его открытый взгляд.

— Пойдем. Промахнулись. Верно! Давыдов-то, черт шербатый, в аккурат и прав... — И улыбнулся чуть смущенно.

Давыдов садился в сани, около него стоял Кондрат Майданников. Они о чем-то оживленно говорили. Кондрат размахивал руками, с жаром рассказывая; кучер нетерпеливо пере-

бирал вожжи, поправляя подоткнутый под сиденье махорчатый кнут. Давыдов слушал, покусывая губы.

Сходя с крыльца, Размётнов слышал, как Давыдов сказал:

– Ты не волнуйся. Ты поспокойнее. Всё в наших руках, всё обтяпаем, факт! Введем систему штрафов, обяжем бригадиров следить под их личную ответственность. Ну, пока!

Над лошадиными спинами взвился и щелкнул кнут. Сани вычертили на снегу синие округлые следы полозьев, скрылись за воротами.

На птичьем дворе сотни кур рассыпаны разноцветной галькой. Дед Аким с хворостинкой похаживает по двору. Ветерок заигрывает с сивой его бородой, сушит на лбу зернистый пот. Ходит «куроцуп», расталкивая валенками кур; через плечо у него висит мешок, наполовину наполненный озадками. Сыплет дед озадки узкой стежкой от амбара к сараю, а под ногами у него варом кипят куры, непрестанно звучит торопливо-заботливое: «Ко-ко-ко-ко-ко-ко!»

На гумне, отгороженном частоколом, сплошными завалами известняка белеют гусиные стада. Оттуда, как с полой воды во время весеннего перелета, полнозвучный и зычный несется гогот, хлопанье крыл, кагаканье. Возле сарая – тесно скученная толпа людей. Наружу торчат одни спины да зады. Головы наклонены вниз, – куда-то под ноги, внутрь круга, устремлены глаза.

Размётнов подошел, заглянул через спины, пытаясь разглядеть, что творится в кругу. Люди сопят, вполголоса переговариваются:

– Красный собьет.

– Как то ни черт! Гля, у него уж гребень набок.

– Ох, как он его саданул!

– Зев-то разинул, приморился...

Голос деда Щукаря:

– Не пихай! Не пихай! Он сам начнет! Не пихай, шалавый!.. Вот я тебе пихну под дыхало!..

В кругу, распустив крылья, ходят два кочета: один – ярко-красный, другой – оперенный иссиня-черным, грачиным пером. Гребни их расклеваны и черны от засохшей крови, под ногами набиты черные и красные перья. Бойцы устали. Они расходятся, делают вид, будто что-то клюют, гребут ногами подтаявший снег, следя друг за другом настороженными глазами. Притворное равнодушие их коротко: черный внезапно отталкивается от земли, летит вверх, как «галка» с пожарища, красный тоже подпрыгивает. Они сшибаются в воздухе раз и еще раз...

Дед Щукарь смотрит, забыв все на свете. На кончике его носа зябко дрожит сопля, но он не замечает. Все внимание его сосредоточено на красном кочете. Красный должен победить. Дед Щукарь бился с Демидом Молчуном об заклад. Из напряженнейшего состояния Щукаря неожиданно выводит чья-то рука: она грубо тянет деда за ворот полушубка, вытаскивает из круга. Щукарь поворачивается, лицо его изуродовано несказанной злобой, кочетиной решимостью броситься на обидчика. Но выражение лица мгновенно меняется, становится радушным и приветливым: это – рука Нагульнова. Нагульнов, хмурясь, расталкивает зрителей, разгоняет петухов, мрачно говорит:

– Китúшки тут оббиваете, кочетов стравливаете... А ну, расходишь на работу, лодыри! Ступайте сено метать к конюшне, коли делать нечего. Навоз идите возить на огороды. Двое пущай идут по дворам и оповещают баб, чтобы шли разбирать курей.

– Распускается куриный колхоз? – спрашивает один из любителей кочетиного боя, единоличник в лисьем треухе, по прозвищу Банник. – Видать, ихняя сознательность не доросла до колхоза! А при сицилизме кочета будут драться или нет?

Нагульнов меряет спрашивающего тяжеленным взглядом, бледнеет.

– Ты шути, да знай, над чем шутить! За социализм самый цвет людской погиб, а ты, дерьмо собачье, над ним вышучиваешься? Удались зараз же отседова, контра, а то вот дам тебе в душу, и поплывешь на тот свет. Пошел, гад, пока из тебя упокойника не сделал! Я ить тоже шутить умею!

Он отходит от притихших казаков, в последний раз глядит на баз, полный птицей, и медленно, сутуловато идет к калитке, подавив тяжелый вздох.

Глава XX

В райкоме синё вился табачный дым, тарахтела пишущая машинка, голландская печь дышала жаром. В два часа дня должно было состояться заседание бюро. Секретарь райкома – выбритый, потный, с расстегнутым от духоты воротом суконной рубахи – торопился: указав Давыдову на стул, он почесал обнаженную пухло-белую шею, сказал:

– Времени у меня мало, ты это учти. Ну, как там у тебя? Какой процент коллективизации? До ста скоро догонишь? Говори короче.

– Скоро. Да тут не в проценте дело. Вот как с внутренним положением быть? Я привез план весенних полевых работ; может быть, посмотришь?

– Нет-нет! – испугался секретарь и, болезненно щуря сумчатые глаза, вытер платочком со лба пот. – Ты с этим иди к Лупетову, в райполеводсоюз. Он там посмотрит и утвердит, а мне некогда: из окружкома товарищ приехал, сейчас будет заседание бюро. Ну, спрашивается, за каким ты чертом к нам кулаков направил? Беда с тобой... Ведь я же русским языком говорил, предупреждал: «С этим не спеши, сколь нет у нас прямых директив». И вместо того, чтобы за кулаками гонять и, не создавши колхоза, начинать раскулачивать, ты бы лучше сплошную кончал. Да что это у тебя с семфондом-то? Ты получил директиву райкома о немедленном создании семфонда? Почему до сих пор ничего не сделано во исполнение этой директивы? Я буду вынужден сегодня же на бюро поставить о вас с Нагульновым вопрос. Мне придется настаивать, чтобы вам записали это в дела. Это же безобразие! Смотри, Давыдов! Невыполнение важнейшей директивы райкома повлечет за собой весьма неприятные для тебя оргвыводы! Сколько у тебя собрано семенного по последней сводке? Сейчас я проверю... – Секретарь вытащил из стола разграфленный лист, щурясь, скользнул по нему глазами и разом покрылся багровой краской. – Ну конечно. Ни пуда не прибавлено! Что же ты молчишь?

– Да ты не даешь мне говорить. Семфондом, верно, еще не занимались. Сегодня же вернусь, и начнем. Все это время каждый день созывали собрания, организовывали колхоз, правление, бригады, факт! Дела очень много, нельзя же так, как ты хочешь: по щучьему веленью, раз-два – и колхоз создать, и кулака изъять, и семфонд собрать... Все это мы выполним, и ты не торопись записывать в дело, еще успеешь.

– Как не торопись, если округ и край жмут, дышать не дают! Семфонд должен быть создан еще к первому февраля, а ты...

– А я его создам к пятнадцатому, факт! Ведь не в феврале же сеять будем? Сегодня послал члена правления за триером в Тубянской. Там председатель колхоза Гнедых бузит, на нашем письменном запросе, когда у них освободится триер, написал резолюцию: «В будущие времена». Тоже остряк-самоучка, факт!

– Ты мне про Гнедых не рассказывай. О своем колхозе давай.

– Провели кампанию против убоя скота. Сейчас не режут. На днях приняли решение обобществить птицу и мелкий скот, из боязни, что порежут, да и вообще... Но я сегодня сказал Нагульнову, чтобы он обратно раздал птицу.

– Это зачем?

– Считаю ошибочным обобществление мелкого скота и птицы, в колхозе это пока не нужно.

– Собрание колхоза приняло такое решение?

– Приняло.

– Так в чем же дело?

– Нет птичников, настроение у колхозника упало, факт! Незачем его волновать по мелочам... Птицу не обязательно обобществлять, не коммуны строим, а колхоз.

– Хорошенькая теория! А возвращать обратно есть зачем? Конечно, не нужно было браться за птицу, но если уж провели, то нечего пятиться назад. У вас там какое-то топтание на месте, двойственность... Надо решительно подтянуться! Семфонд не создан, ста процентов коллективизации нет, инвентарь не отремонтирован...

– Сегодня договорились с кузнецом.

– Вот видишь, я и говорю, что темпов нет! Непременно агитколонну к вам надо послать, она вас научит работать.

– Пришли. Очень хорошо будет, факт!

– А вот с чем не надо торопиться, вы моментально обтяпали. Кури. – Секретарь протянул портсигар. – Вдруг, как снег на голову, прибывают подводы с кулаками. Звонит мне из ГПУ Захарченко: «Куда их девать? Из округа ничего нет. Под них эшелоны нужны. На чем их отправлять, куда отправлять?» Видишь, что вы наработали! Не было ни согласовано, ни увязано...

– Так что же я с ними должен был делать?

Давыдов осердился. А когда в сердцах он начинал говорить торопливей, то слегка шепелявил, потому что в щербину попадал язык и делал речь причмокивающей, нечистой. Вот и сейчас он чуть шепеляво, повышенно и страстно заговорил своим грубоватым тенорком:

– На шею я их должен был себе повесить? Они убили бедняка Хопрова с женой.

– Следствием это не доказано, – перебил секретарь, – там могли быть посторонние причины.

– Плохой следователь, потому и не доказано. А посторонние причины – чепуха! Кулацкое дело, факт! Они нам всячески мешали организовывать колхоз, вели агитацию против, – вот и выселили их к черту. Мне непонятно, почему ты все об этом упоминаешь? Словно ты недоволен...

– Глупейшая догадка! Поосторожней выражайся! Я против самостоятельности в таких случаях, когда план, плановая работа подменяется партизанщиной. А ты первый ухитрился выбросить из своего хутора кулаков, поставив нас в страшно затруднительное положение с их выселением. И потом, что за местничество, почему ты отправил их на своих подводах только до района? Почему не прямо на станцию, в округ?

– Подводы нужны были.

– Вот я и говорю – местничество! Ну, хватит. Так вот тебе задания на ближайшие дни: собрать полностью семфонд, отремонтировать инвентарь к севу, добиться стопроцентной коллективизации. Колхоз твой будет самостоятельным. Он территориально отдален от остальных населенных пунктов и в «Гигант», к сожалению, не войдет. А тут в округе – черт бы их брал! – путают: то «гиганты» им подавай, то разукрупняй! Мозги переворачиваются!

Секретарь взялся за голову, посидел с минуту молча и уже другим тоном сказал:

– Ступай согласовывай план в райполеводсоюз, потом обедай в столовке, а если там обедов нехватишь, иди ко мне на квартиру, жена тебя покормит. Подожди! Записку напишу.

Он быстро черкнул что-то на листке бумажки, сунул Давыдову и, уткнувшись в бумаги, протянул холодную потную руку:

– И тотчас же езжай. Будь здоров. А на бюро я о вас поставлю. А впрочем, нет. Но подтянитесь. Иначе – оргвыводы.

Давыдов вышел, развернул записку. Синим карандашом было размашисто написано:

*Лиза! Категорически предлагаю незамедлительно и безоговорочно
предоставить обед предъявителю этой записки.*

Г. Корчужинский.

«Нет, уж лучше без обеда, чем с таким мандатом», – уныло решил проголодавшийся Давыдов, прочитав записку и направляясь в райполеводсоюз.

Глава XXI

По плану площадь весенней пахоты в Гремячем Логу должна была составить в этом году 472 гектара, из них 110 – целины. Под зябь осенью было вспахано – еще единоличным порядком – 643 гектара, озимого жита посеяно 210 гектаров. Общую посевную площадь предполагалось разбить по хлебным и масличным культурам следующим порядком: пшеницы – 667 гектаров, жита – 210, ячменя – 108, овса – 50, проса – 65, кукурузы – 167, подсолнуха – 45, конопли – 13. Итого – 1325 гектаров плюс 91 гектар отведенной под бахчи песчаной земли, простиравшейся на юг от Гремячего Лога до Ужачиной балки.

На расширенном производственном совещании, состоявшемся двенадцатого февраля и собравшем более сорока человек колхозного актива, стоял вопрос о создании семенного фонда, о нормах выработки на полевых работах, ремонте инвентаря к севу и о выделении из фуражных запасов брони на время весенних полевых работ.

По совету Якова Лукича Давыдов предложил засыпать семенной пшеницы круглым числом по семи пудов на гектар, всего – 4669 пудов. Тут-то и поднялся оглушительный крик. Всяк себе орал, не слушая другого, от шума стекла в Титковом курене дрожали и вызывали.

– Много дюже!

– Как бы не прослабило!

– По серопескам сроду мы так не высевали.

– Курям на смех!

– Пять пудов, от силы.

– Ну, пять с половиной.

– У нас жирной земли, какая по семь на десятину требует, с воробьиный нос! Толоку надо бы пахать, чего власть предусматривала?

– Либо возле Панюшкина буерака, энти ланы.

– Хо! Самые травяные места запахивать! Сказал, как в воду дунул!

– Вы про хлеб гутарьте, сколько килов на эту га надо.

– Ты нам килами голову не морочь! Мерой али пудом вешай!

– Граждане! Граждане, тише! Граждане, вашу..! Тю-у-у, сбесились, проклятые! Одно словцо мне дайте! – надрывался бригадир второй, Любишкин.

– Бери их все, даем!

– Ну, народ, язви его в почку! Чисто скотиньяка... Игнат! И чего ты реवेशь, как бугай? Ажник посинел весь с натуги...

– У тебя у самого с рота пена клубом идет, как у бешеной собаки!

– Любишкину слово преставьте!

– Терпежу нету, глушно!

Совещание лютовало в выкриках. И наконец, когда самые горлодеры малость приохрипли, Давыдов свирепо, необычно для него, заорал:

– Кто-о-о так совещается, как вы?.. Почему рев? Каждый говорит по порядку, остальные молчат, факт! Бандитства здесь нечего устраивать! Сознательность надо иметь! – И тише продолжал: – Вы должны у рабочего класса учиться, как надо организованно проводить собрания. У нас в цеху, например, или в клубе собрание, и вот идет оно порядком, факт! Один выступает, остальные слушают, а вы кричите все сразу, и ни черта не поймешь!

– Кто вякнет середь чужой речи, того вот этой задвижкой так и потяну через темя, ей-богу! Чтоб и копыта на сторону откинул! – Любишкин встал, потряс дубовым толстенным запором.

– Этак ты нас к концу собрания всех перекалечишь! – высказал предположение Демка Ушаков.

Совещавшиеся посмеялись, покурили и уже серьезно взялись за обсуждение вопроса о норме высева. Да оно, как выяснилось, и спорить-то и орать было нечего... Первым взял слово Яков Лукич и сразу разрешил все противоречия.

– Надсадились от крику занапрасну. Почему товарищ Давыдов предлагали по семи пудов? Очень просто, это наш общий совет. Протравливать и чистить на триере будем? Будем. Отход будет? Будет. И может много быть отходу, потому у иных хозяев, какие нерадеи, семенное зерно от озадков не отличишь. Блюдется оно с едовым вместе, подсеваается абы как. Ну, а ежели и будут остальные, не пропадут же они? Птицей, животинкой потравим.

Решили – по семь пудов. Хуже дело пошло, когда коснулись норм выработки на плуг. Тут уж пошел такой разнобой в высказываниях, что Давыдов почти растерялся.

– Как ты можешь мне выработку загодя на плуг устанавливать, ежели не знаешь, какая будет весна? – кричал бригадир третьей бригады, рябой и дюжий Агафон Дубцов, нападая на Давыдова. – А ты знаешь, как будет снег таять и какая из-под него земля выйдет, сырая или сухая? Ты что, сквозь землю видишь?

– А ты что же предлагаешь, Дубцов? – спрашивал Давыдов.

– Предлагаю бумагу зря не портить и зараз ничего не писать. Пройдет сев, и толкач муку покажет.

– Как же ты – бригадир, а несознательно выступаешь против плана? По-твоему, он не нужен?

– Нельзя загодя сказать что и как! – неожиданно поддержал Дубцова Яков Лукич. – И норму как можно становить? У вас, к примеру, в плугу три пары добрых, старых быков ходют, а у меня трехлетки, недоростки. Разве же я с ваше вспашу? Сроду нет!

Но тут вмешался Кондрат Майданников:

– От Островнова, завхоза, дюже удивительно нам такие речи слухать! Как же ты без заданий будешь работать? Как бог на душу положит? Я от чапиг не буду рук отымать, а ты на припеке будешь спину греть, а получать за это будем одинаково? Здорово живешь, Яков Лукич!

– Слава богу, Кондрат Христофорыч! А как же ты уравниешь бычиную силу и землю? У тебя – мягкая земля, а у меня – крепь, у тебя – в низине лан, а у меня – на бугру. Скажи уж, ежели ты такой умный.

– По крепкой – одна задача, по мягкой – другая. Быков можно подравнять в запряжках. Все можно учесть, ты мне не толкуй!

– Ушаков хочет говорить.

– Просим!

– Я бы, братцы, так сказал: худóбу надо, как оно всегда водится, за месяц до сева начать кормить твердым кормом: добрым сеном, кукурузой, ячменем. Вот тут вопросина: как у нас с кормами будет? Хлебозаготовка съела лишнюю зерно...

– О скоте потом будет речь. Сейчас это не по существу, факт! Надо решать вопрос о нормах дневной выработки на пахоте. Сколько гектаров по крепкой земле, сколько на плуг, сколько на сеялку.

– Сеялки – они тоже разные! Я на одиннадцатирядной не сработаю же с семнадцатирядовой.

– Факт! Вноси свое предложение. А вы чего, гражданин, все время молчите? Числитесь в активе, а голоса вашего я еще не слышал.

Демид Молчун удивленно взглянул на Давыдова, ответил нутряным басом:

– Я согласный.

– С чем?

– Что надо пахать, стало быть... и сеять.

– Ну?

– Вот и все.

– И все?

– Кгм.

– Поговорили. – Давыдов улыбнулся, еще что-то сказал, но за общим хохотом слов его не было слышно.

Потом уже за Молчуна объяснился дед Щукарь:

– Он у нас в хуторе, товарищ Давыдов, Молчуном прозывается. Всю жизнь молчит, гутарит в крайностях, через это его и жена бросила. Казак он неглупой, а вроде дурачка, али, нежнее сказать, как бы с придурью, что ли, али бы вроде мешком из-под угла вдаренный. Мальчонком был, я его, помню, сопливый такой и никудышный, без порток бегал, и никаких талантов за ним не замечалось, а зараз вот вырос и молчит. Его при старом прижиме тубянской батюшка даже причастия за это лишал. На исповеди накрыл его черным платком, спрашивает (в великий пост было дело, на семь, никак, неделе): «Воруешь, чадо?» Молчит. «Блудом действуешь?» Опять молчит. «Табак куришь? Прелюбы сотворяешь с бабами?» Обратно молчит. Ему бы, дураку, сказать, мол: «Грешен, батюшка!» – и сей момент было бы отпущение грехов...

– Да заткнись ты! – голос сзади и смех.

– ...Зараз, в один секунд кончаю! Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. Батюшка в отчаянность пришел, в испуг вдарился, питрахиль на нем дрожит, а все-таки спрашивает: «Может, ты когда жену чужую желал, или ближнего осла его, или протчего скота его?» Ну, и разное другое по Евангелию... Демид опять же молчит. Да и что же можно ему сказать? Ну, жену чью бы он ни пожелал, все одно этого дела не было бы: никакая, самая последняя, ему не...

– Кончай, дед! К делу не относящийся твой рассказ, – сурово приказал Давыдов.

– Он зараз отнесется, вот-вот подойдет к делу. Это толечки приступ. Ишо один секунд! Перебили... Ах, едрить твою за кочан! Забыл, об чем речь-то шла!.. Дай бог памяти... Т-твою!.. с такой памятью! Вспомнил! – Дед Щукарь хлопнул себя по плещи, посыпал очередями, как из пулемета: – Так вот, насчет чужой женки Демидовы дела табак были, а осла чего ему желать или протчую святую скотиняку? Он, может, и пожелал бы, пребывая в хозяйстве безлошадным, да они у нас не водятся, и он их сроду не видал. А спрошу я вас, дорогие граждане, откель у нас ослы? Спокон веку их тут не было! Тигра там или осел, то ж самое верблюдо...

– Ты замолчишь ноне? – спросил Нагульников. – Зараз выведу из хаты.

– Ты, Макарушка, на Первое мая об мировой революции с полден до закату солнца в школе говорил. Скушно говорил, слов нет, то же да одно же толок. Я потихонечку на лавке свернулся калачом, уснул, а перебивать тебя не решился, а вот ты перебиваешь...

– Нехай кончает дед. Время у нас терпит, – сказал Размётнов, шибко любивший шутку и веселый рассказ.

– Может, через это он и смолчал, никому ничего не известно. Поп тут диву дался. Лезет головой к Демиду под платок, пытается: «Да ты не немой?» Демид тут говорит ему: «Нет, мол, надоел ты мне!» Поп тут осерчал, слов нет, ажник зеленый с лица стал, как зашипит потихоньку, чтоб ближние старухи не слышали: «Так чего же ты, тудыт твою, молчишь, как столб?» Да ка-а-ак дубнет Демида промеж глаз малым подсвечником!

Хохот покрывается рокочущим басом Демида:

– Бреешь! Не вдарил.

– Неужели не вдарил? – страшно удивился дед Щукарь. – Ну, все одно, хотел небось вдарить... Тут он его и причастия лишил. Что же, граждане, Демид молчит, а мы будем

гутарить, нас это не касается. Хучь оно хорошее слово, как мое, и серебро, а молчание – золото.

– Ты бы все свое серебро-то на золото променял! Другим бы спокойнее было... – посоветовал Нагульников.

Смех то вспыхивал горящим сухостоем, то гаснул. Рассказ деда Щукаря было нарушил деловую настроенность. Но Давыдов смахнул с лица улыбку, спросил:

– Что ты хотел сказать о норме выработки? К делу приступай!

– Я-то? – Дед Щукарь вытер рукавом вспотевший лоб, заморгал. – Я ничего про нее не хотел... Я про Демида засветил вопрос... А норма тут ни при чем...

– Лишаю тебя слова на это совещание! Говорить надо по существу, а балагурить можно после, факт!

– Десятину в сутки на плуг, – предложил один из агроуполномоченных, колхозник Батальщиков Иван.

Но Дубцов возмущенно крикнул:

– Одурел ты! Бабке своей рассказывай побаски! Не вспашешь за сутки десятину! В мылу будешь, а не сработаешь.

– Я пахал допрежь. Ну, чудок, может, и меньше...

– То-то и оно, что меньше!

– Полдесятины на плуг. Это – твердой земли.

После долгих споров остановились на следующей суточной норме вспашки: твердой земли на плуг – 0,60 гектара, мягкой – 0,75.

И по высеву для садилок: одиннадцатирядной – $3\frac{1}{4}$ гектара, тринадцатирядной – 4, семнадцатирядной – $4\frac{3}{4}$.

При общем наличии в Гремячем Логу 184 пар быков и 73 лошадей план весеннего сева не был напряженным. Об этом так и заявил Яков Лукич:

– Отсеемся рано, ежели будем работать при усердии. На тягло падает по четыре с половиной десятины на весну. Это легко, братцы! И гутарить нечего.

– А вот в Тубянском вышло по восемь на тягло, – сообщил Любишкин.

– Ну, и пускай они себе помылят промеж ног! Мы до заморозков прошлую осень пахали зябь, а они с Покрова хворост зачали делить, шило на мыло переводить.

Приняли решение засыпать семфонд в течение трех дней. Выслушали нерадостное заявление кузнеца Ипполита Шалого. Он говорил зычно, так как был туговат на ухо, и все время вертел в черных, раздавленных работой руках замаслившийся от копоти треух, робея говорить перед столь многолюдным собранием.

– Всему можно ремонт произвести. За мной дело не станет. Но вот насчет железа как ни мога́ надо стараться, зараз же его добывать. Железа на лемешки и на черёсла плугов и куска нету. Не с чем работать. К садилкам я приступаю с завтрашнего дня. Подручного мне надо и угля. И какая мне от колхоза плата будет?

Давыдов подробно разъяснил ему относительно оплаты и предложил Якову Лукичу завтра же отправиться в район за железом и углем. Вопрос о создании фуражной брони разрешили скоро.

Потом взял слово Яков Лукич:

– Надо вам толком обсудить, братцы, как, где и что сеять, и полевода надо выбрать знающего, грамотного человека. Что же, было у нас до колхоза пять агроуполномоченных, а делов ихних не видно. Одного полевода нужно выбрать из старых казаков, какой всю нашу землю знает, и ближнюю и переносную. Покуда новое землеустройство не прошло, он нам дюже сгодится! Я скажу так: зараз в колхозе у нас почти весь хутор. Помаленечку вступают да вступают. Дворов полсотни осталось единоличников, да и энти завтра проснутся колхозниками... вот и надо нам сеять по науке, как она диктует. Я это к тому, чтобы из двухсот

десятин, какие у нас под пропашные предназначаются, половину сработать под херсонский пар. Нонешнюю весну сто десять десятин будем подымать целины, вот и давайте их кинем под этот херсонский пар.

– Слыхом про такой не слыхивали!

– Что это за херсон?

– Ты нам фактически освети это, – попросил Давыдов, втайне гордясь познаниями своего столь многоопытного завхоза.

– А это вот какой пар, иначе он ишо прозывается кулисным, американским. Это дюже любопытно и с умом придумано! К примеру, сеете вы нонешний год пропашные, ну, кукурузу там либо подсолнушки, и сеете редким рядом, наполовину реже, чем завсегда, так что урожай супротив настоящего, правильного посева соберете толечко пятьдесят процентов. Кочны с кукурузы сымете либо подсолнуховые шляпки поломаете, а будылья оставляете на месте. И в эту же осень промеж будыльев по кулисам сеете пшеницу-озимку.

– А как же сеять-то? Садилка будылья ить поломает? – спросил жадно, с открытым ртом слушавший Кондрат Майданников.

– Зачем поломает? Ряды же редкие, через это она будылья не тронет, рукава ее мимо пойдут, стало быть, ляжет и задержится промеж будыльев снег. Таять он будет степенно и влаги больше даст. А весною, когда пшеница подыметя, эти будылья удаляют, пропалывают. Довольно завлекательно придумано. Я сам хучь и не пробовал так сеять, а в этом году уж было намеревался спытать. Тут верный расчет, без ошибки!

– Это вот да! Поддерживаю! – Давыдов толкнул под столом ногою Нагульнова, шепнул: – Видишь? А ты все был против него...

– Я и зараз против...

– Это уж от упрямства, факт! Уперся, как вол...

Совещание приняло предложение Якова Лукича. После этого решили и обсоветовали еще кучу мелких дел. Стали расходиться. Не успели Давыдов с Нагульновым дойти до сельсовета, как из сельсоветского двора навстречу им быстро зашагал невысокий парень в распахнутой кожаной тужурке и юнгштурмовском костюме. Придерживая рукой клетчатую городскую кепку, преодолевая сопротивление бывшего порывами ветра, он быстро приблизился.

– Из району кто-то. – Нагульнов сощурился.

Паренек подошел вплотную, по-военному приложил руку к козырьку кепки:

– Вы не из сельсовета?

– А вам кого?

– Секретаря здешней ячейки или предсовета.

– Я секретарь ячейки, а это – председатель колхоза.

– Вот и хорошо. Я, товарищи, из агитколонны. Мы только что приехали и ждем вас в Совете.

Курносый и смуглолицый паренек, быстро скользнув глазами по лицу Давыдова, вопрошающе улыбнулся:

– Ты не Давыдов, товарищ?

– Давыдов.

– Я тебя угадал. Недели две назад встречались мы с тобой в окружке. Я в округе работаю, на маслозаводе, прессовщиком.

И только тут Давыдов понял, почему, когда подошел к ним паренек, вдруг пахуче и сладко дохнуло от него подсолнечным маслом: его промасленная кожаная куртка была насквозь пропитана этим неветривающимся вкусным запахом.

Глава XXII

На сельсоветском крыльце, спиной к подходившему Давыдову, стоял приземистый человек в черной, низко срезанной кубанке с белым перекрестом поверху и в черном дубленом сборчатом полушубке. Плечи человека в кубанке были необъятно широки, редкостно просторная спина заслоняла всю дверь вместе с притоками. Он стоял, раскорячив куцые, сильные ноги, низкорослый и могучий, как степной вяз. Сапоги с широченными морщенными голенищами и сбитыми на сторону каблуками, казалось, вросли в настил крыльца, вдавили его тяжестью медвежьего тела.

— Это командир нашей агитколонны товарищ Кондратько, — сказал паренек, шедший рядом с Давыдовым. И, заметив улыбку на его губах, шепнул: — Мы его между собой в шутку зовем «батько Квадратько»... Он — с Луганского паровозостроительного. Токарь. По возрасту — папаша, а так — парень хоть куда!

В этот момент Кондратько, слышав разговор, повернулся багровым лицом к Давыдову, под висячими бурыми усами его в улыбке бело вспыхнули зубы:

— Оце, мабуть, и радянська власть? Здоровеньки були, братки!

— Здравствуйте, товарищ. Я — председатель колхоза, а это — секретарь партячейки.

— Добре! Ходимте у хату, а то вже мои хлопцы заждались. Як я у цей агитколонни голова, то я з вами зараз и побалакаю. Зовуть мене Кондратько, а коли мои хлопцы будут казать вам, шо зовуть мене Квадратько, то вы им, пожалуйста, не давайте виры, бо они у мене таки скаженни та дурны, шо и слов нема... — говорил он громовитым басом, боком протискиваясь в дверь.

Осип Кондратько работал на юге России более двадцати лет. Сначала в Таганроге, потом в Ростове-на-Дону, в Мариуполе и, наконец, в Луганске, откуда и пошел в Красную гвардию, чтобы подпереть своим широким плечом молодую Советскую власть. За годы общения с русскими он утратил чистоту родной украинской речи, но по облику, по нависшим шевченковским усам в нем еще можно было узнать украинца. Вместе с донецкими шахтерами, с Ворошиловым шел он в 1918 году сквозь полыхавшие контрреволюционными восстаниями казачьи хутора на Царицын... И уже после, когда в разговоре касались отлетевших в прошлое годов гражданской войны, чей отзвук неумираемо живет в сердцах и памяти ее участников, Кондратько с тихой гордостью говорил: «Наш Клементий, луганський... Як же, колысь були добре знакомы, та, мабуть, ще побачимось. Вин мене зразу визнає! Під Царицею, як воювали з билими, вин зо мной стике разив шутковав: „Ну як, каже, Кондратько, дило? Ты ще живий, старий вовк?“ — „Живий, кажу, Клементий Охримыч, николи зараз помырать, бачите, як з контрой рубаемось! Як скаженни!“ Колы б побачились, вин бы мене и зараз пригорнув», — уверенно заканчивал Кондратько.

После войны он опять попал в Луганск, служил в органах Чека на транспорте, потом перебросили его на партработу и снова на завод. Оттуда-то по партмобилизации и был он послан на помощь коллективизирующейся деревне. За последние годы растолстел, раздался вширь Кондратько... Теперь не узнать уж соратникам того самого Осипа Кондратько, который в 1918 году на подступах к Царицыну зарубил в бою четырех казаков и кубанского сотника Мамалыгу, получившего «за храбрость» серебряную с золотой насечкой шашку из рук самого Врангеля. Взматерел Осип, начал стариться, по лицу пролегли синие и фиолетовые прожилки... Как коня быстрый бег и усталость кроют седым мылом, так и Осипа взмылило время сединой, даже в никлых усах и там поселилась вероломная седина. Но воля и сила служат Осипу Кондратько, а что касается неумеренно возрастающей полноты, то это пустое. «Тарас Бульба ще важче мене був, а з ляхами як рубався? Ото ж! Колы придется воювати, так я ще зумию з якого-небудь охвицера двох зробити! А пивсотни годив моих — що ж таке?

Мий батько сто жив при царській власті, а я зараз при своїй риднесенькой пивтора ста проживу!» – говорить он, когда ему указывают на его лета и все увеличивающуюся толщину.

Кондратько первым вошел в комнату сельсовета.

– Просю тыше, хлопцы! Ось – председатель колхоза, а це – секретарь ячейки. Треба нам зараз послухатъ, яки тутечка дила, тоди будемо знатъ, шо нам робыть. А ну, сидайте!

Человек пятнадцать из состава агитколонны, разговаривая, стали рассаживаться, двое пошли на баз – видимо, к лошадям. Рассматривая незнакомые лица, Давыдов узнал трех районных работников: агронома, учителя из школы второй ступени и врача; остальные были присланы из округа, некоторые, судя по всему, с производства. Пока рассаживались, двигая стульями и покашливая, Кондратько шепнул Давыдову:

– Прикажи, шоб нашим коням синця кинулы та шоб пидводчыкы не отлучалысь, – и хитро прижмурился. – А мабуть, у тебя и овсом мы разживемось?

– Нет овса, остался лишь семенной, – ответил Давыдов и тотчас же весь внутренне похолодел, остро ощущая неловкость, неприязнь к самому себе.

Овса кормового было еще более ста пудов, но он ответил отказом потому, что оставшийся овес хранили к началу весенних работ как зеницу ока; и Яков Лукич, чуть не плача, отпускал лошадям (одним правленческим лошадям!) по корцу драгоценного зерна, и то только перед долгими и трудными поездками.

«Вот она, мелкособственническая стихия! И меня захлестывать начинает... – подумал Давыдов. – Ничего подобного не было раньше, факт! Ах ты... Дать, что ли, овса? Нет, сейчас уже неудобно».

– Мабуть, ячмень е?

– И ячменя нет.

Ячменя в самом деле не было, но Давыдов вспыхнул под улыбчивым, понимающим взглядом Кондратько.

– Нет, серьезно говорю – нету ячменя.

– Гарный з тебе хозяйин був бы... Тай ще, мабуть, и кулак... – смеясь в усы, басил Кондратько, но, видя, что Давыдов сдвигает брови, обнял его, чуточку приподнял от пола. – Ни-ни! То я шуткую. Нема так нема! Соби ховай бильше, шоб свою худобу було чим годувать... Так, ну, братики, – к дилу! Шоб мертву тишину блюлы. – И обращаясь к Давыдову и Нагульнову: – Приихалы мы до вас, шоб якусь-то помогу вам зробить, це вам, надиюсь, звистно. Так от докладайте: яки у вас тутечка дила?

После сделанного Давыдовым обстоятельного доклада о ходе коллективизации и засыпке семенного фонда Кондратько решил так:

– Нам усим тут ничего робыть, – он, кряхтя, извлек из кармана записную книжку и карту-трехверстку, повел по ней толстым пальцем, – мы поидемо у Тубянський. До цього хутора, як бачу я, видциля близенько, а у вас тутечка кинемо бригаду з трех хлопцев, хай воны вам пидсобляють у работи. А шо касаемо того, як скорийше собрать семфонд, то я хочу вам присовитувать так: уначали провести собрания, рассказать хлиборобам, шо воно и як, а вже тоди о так развернете массовую работу, – говорил он подробно и не спеша.

Давыдов с удовольствием слушал его речь, временами не совсем ясно разбираясь в отдельных выражениях, затемненных полупонятным для него украинским языком, но крепко чувствуя, что Кондратько излагает в основном правильный план кампании по засыпке семенного зерна. А Кондратько все так же неспешно наметил линию, которую нужно вести в отношении единоличника и зажиточной части хутора, ежели, паче чаяния, они вздумают упорствовать и так или иначе сопротивляться мероприятиям по сбору сем-зерна; указал на наиболее эффективные методы, основанные на опыте работы агитколонны в других сельсоветах; и все время говорил мягко, без малейшего намека на желание руководить и поучать, по ходу речи советуясь то с Давыдовым, то с Размётновым, то с Нагуль-

новым. «Це дило треба о так повернуть. Як вы, гремаченци, думаете? Ото ж и я так соби думал!»

А Давыдов, улыбочиво глядя на багровое, в прожилках лицо токаря Кондратько, на шельмовский блеск его глубоко посаженных глазок, думал: «Экий же ты, дьявол, умница! Не хочет нашу инициативу вязать, будто бы советуется, а начни возражать против его правильной расстановки – он тебя так же плавно повернет на свой лад, факт! Видывал я таких, честное слово!»

Еще один мелкий случай укрепил его симпатию к товарищу Кондратько: перед тем как уезжать, тот отозвал в сторону бригадира, оставшегося с двумя товарищами в Гремачем Логу, и между ними короткий возник разговор:

– Шо це ты надив на себя поверх жакетки наган? Зараз же скынь!

– Но, товарищ Кондратько, ведь кулачество... классовая борьба...

– Та шо ты мени там кажешь? Кулачество, ну так шо, як кулачество? Ты приихав агитировать, а колы кулакив злякався, так имий наган, но наверху его не смий носить. Вумный який! У его, не у его наган! Як дитына мала! Цацкається з оружием, начепыв зверху... Зараз же заховай у карман, шоб той же пидкулачник не сказав про тебе: «Дывысь, люди добри, ось як вас приихалы агитировать, з наганами!» – и сквозь зубы кончил: – Таке дурне...

И, уже садясь в сани, подозвал Давыдова, повертел пуговицу на его пальто:

– Мои хлопци будут робыть, як прокляти! Тике ж и вы гарно робите, шоб усе было зроблено, тай скорийше. Я буду у Тубянськом, колы шо – повидомляй. Приидемо туда, тай ще нынче, мабуть, прийдеться спектакль становыть. От побачив бы ты, як я кулака граю! В мене ж така компликация, шо дозволяе кулака з натуры грать... Ось, як диду Кондратько пришлось на старости лит! А за овес не думай, сердца из-за цього дила на тебе не маю. – И улыбнулся, привалившись широченной спиной к задку саней.

– Что головой башковат, что в плечах, что ноги под ним! – хохотал Размётнов. – Как трактор!.. Он один, впряги его в букарь, потянет, и трех пар быков не нужно. Даже удивительно мне: чем их, таких ядреных людей, и делают, как думаешь, Макар?

– Ты уж вроде деда Щукаря: балабоном становишься! – сердито отмахнулся тот.

Глава XXIII

Есаул Половцев, живя у Якова Лукича, деятельно готовился к весне, к восстанию. Ночами он до кочетов просиживал в своей комнатушке, что-то писал, чертил химическим карандашом какие-то карты, читал. Иногда, заглядывая к нему, Яков Лукич видел, как Половцев, склонив над столиком лобастую голову, читает, беззвучно шевелит твердыми губами. Но иногда Яков Лукич заставлял его в состоянии тяжелейшей задумчивости. В такие минуты Половцев обычно сидел облокотясь, сунув пальцы в редеющие отросшие космы белесых волос. Сцепленные крутые челюсти его двигались, словно прожевывали что-то неподатливо твердое, глаза были полужакрыты. Только после нескольких окликов он поднимал голову, в крохотных, страшных неподвижностью зрачках его возгоралось озлобление. «Ну, чего тебе?» – спрашивал он лающим басом. В такие минуты Яков Лукич испытывал к нему еще больший страх и невольное уважение.

В обязанности Якова Лукича вошло ежедневно сообщать Половцеву о том, что делается в хуторе, в колхозе; сообщал он добросовестно, но каждый день приносил Половцеву новые огорчения, вырубая на щеках его еще глубже поперечные морщины...

После того как были выселены из Гремячего Лога кулаки, Половцев всю ночь не спал. Его тяжелый, но мягкий шаг звучал до зорьки, и Яков Лукич, на цыпочках подходя к двери комнатухи, слышал, как он, скрипя зубами, бормотал:

– Рвут из-под ног землю! Опоры лишают... Рубить! Рубить! Рубить беспощадно!

Умолкнет, снова пойдет, мягко ставя ступни обутых в валенки ног, слышно, как он скребет пальцами тело, чешет по привычке грудь и снова – глухо:

– Рубить! Рубить!.. – И мягче, с глухим клекотом в гортани: – Боже милостивый, всевидящий, справедливый!.. Поддержи!.. Да когда же этот час?.. Господи, приблизь твою кару!

Встревоженный Яков Лукич уже на заре подошел к двери горенки, снова приложил к скважине ухо: Половцев шептал молитву, кряхтя, опускался на колени, клал поклоны. Потом погасил огонь, лег и уже в полусне еще раз внятно прошептал: «Рубить всех... до единого!» – и застонал.

Спустя несколько дней Яков Лукич услышал ночью стук в ставню, вышел в сени.

– Кто?

– Открой, хозяин!

– Кто это?

– К Александру Анисимовичу... – шепот из-за двери.

– К какому? Нету тут таких.

– Скажи ему, что я – от Черного, с пакетом.

Яков Лукич помедлил и открыл дверь: «Будь что будет!» Вошел кто-то низенький, закутанный башлыком. Половцев ввел его к себе, наглухо закрыл дверь, и часа полтора из горенки слышался приглушенный, торопливый разговор. Тем временем сын Якова Лукича положил лошади приехавшего нарочного сена, ослабил подпруги седла, разнуздал.

Потом коннонарочные стали приезжать почти каждый день, но уже не в полночь, а ближе к заре, часов около трех-четырёх ночи. Приезжали, видимо, из более дальних мест, нежели первый.

Раздвоенной диковинной жизнью жил эти дни Яков Лукич. С утра шел в правление колхоза, разговаривал с Давыдовым, Нагульновым, с плотниками, с бригадами. Заботы по устройству базов для скота, протравке хлеба, ремонту инвентаря не давали и минуты для посторонних размышлений. Деятельный Яков Лукич неожиданно для него самого попал в родную его сердцу обстановку деловой суеты и вечной озабоченности, лишь с тою существенной разницей, что теперь он мотался по хутору, в поездках, в делах уже не ради личного

стяжания, а работая на колхоз. Но он и этому был рад, лишь бы отвлечься от черных мыслей, не думать. Его увлекала работа, хотелось делать, в голове рождались всяческие проекты. Он ревностно брался за утепление базов, за стройку капитальной конюшни, руководил переноской обобществленных амбаров и строительством нового колхозного амбара; а вечером, как только утихала суeta рабочего дня и приходило время идти домой, при одной мысли, что там, в горенке, сидит Половцев, как коршун-стервятник на могильном кургане, хмурый и страшный в своем одиночестве, – у Якова Лукича начинало сосать под ложечкой, движения становились вялыми, несказанная усталость боролась тело... Он возвращался домой и, перед тем как поужинать, шел к Половцеву.

– Говори, – приказывал тот, сворачивая сигарку, готовый жадно слушать.

И Яков Лукич рассказывал об истекшем в колхозных делах дне. Половцев обычно выслушивал молча, лишь единственный раз, после того как Яков Лукич сообщил о происшедшем распределении среди бедноты кулацкой одежды и обуви, его прорвало; с бешеным, с клетотом в горле он крикнул:

– Весною глотки повырвем тем, кто брал! Всех этих... всю эту сволочь возьми на список! Слышишь?

– Список у меня есть, Александр Анисимыч.

– Он у тебя здесь?

– При мне.

– Дай сюда!

Взял список и тщательно снял с него копию, полностью записывая имена, отчества, фамилии и взятые вещи, ставя против фамилии каждого, получившего одежду или обувь, крестик.

Поговорив с Половцевым, Яков Лукич шел ужинать, а перед сном опять шел к нему и получал инструкции: что делать на следующий день.

Это по мысли Половцева Яков Лукич 8 февраля приказал нарядчику второй бригады выделить четыре подводы с людьми и привезти к воловням речного песка. Песок привезли. Яков Лукич распорядился начисто вычистить земляные поля воловен, присыпать их песком. К концу работы на баз второй бригады пришел Давыдов.

– Что это вы с песком возитесь? – спросил он у Демида Молчуна, назначенного бригадным воловником.

– Присыпаем.

– Зачем?

Молчание.

– Зачем, спрашиваю.

– Не знаем.

– Кто распорядился сыпать здесь песок?

– Завхоз.

– А что он говорил?

– Мол, чистоту блюдите... Выдумляет, сукин сын!

– Это хорошо, факт! Действительно будет чистота, а то навоз и вонь тут, как раз еще вола могут заразиться. Им тоже чистоту подавай, так ветеринары говорят, факт. И ты напрасно, это самое... недовольство выражаешь. Ведь даже посмотреть сейчас на воловню приятно: песочек, чистота, а? Как ты думаешь?

Но с Молчуном Давыдов не разговаривал, – отмалчиваясь, тот ушел в мякинник, а Давыдов, мысленно одобряя инициативу своего завхоза, пошел обедать.

Перед вечером к нему прибежал Любишкин, озлобленно спросил:

– Вместо подстилок быкам, значится, с нынешнего дня песок сыпем?

– Да, песок.

– Да он, этот Островнов, что? С... с... сорвался, что ли? Где это видано? И ты, товарищ Давыдов?... Неужели же такую дурь одобряешь?

– А ты не волнуйся, Любишкин! Тут все дело в гигиене, и Островнов правильно сделал. Безопасней, когда чисто: заразы не будет.

– Да какая же это гигиена, в рот ее махай! На чем же быку надо лежать? Гля, какие морозы зараз давят! На соломе ж ему тепло, а на песке поди-кась полежи!

– Нет, ты уж, пожалуйста, не возражай! Надо бросать по старинке ходить за скотом! Подо все мы должны подвести научную основу.

– Да какая же это основа? Эх!.. – Любишкин грохнул своей черной папахой по голеницу, выскочил от Давыдова с рожей краснее калины.

А наутро двадцать три быка не могли встать с пола. Ночью замерзший песок не пропускал бычиной мочи, бык ложился на мокрое и примерзал... Некоторые поднялись, оставив на окаменелом песке клочья кожи, у четырех отломились примерзшие хвосты, остальные передрогли, захворали.

Перестарался Яков Лукич, выполняя распоряжение Половцева, и еле удержался на должности завхоза. «Морозь им быков вот таким способом! Они – дураки, поверят, что ты это для чистоты. Но лошадей мне блюди, чтобы все были хоть нынче в строй!» – говорил накануне Половцев. И Яков Лукич выполнил.

Утром его вызвал к себе Давыдов; заложив дверь на крючок, не поднимая глаз, спросил:

– Ты что же?..

– Ошибка вышла, дорогой товарищ Давыдов! Да я... бож-же мой... Готов волосья на себе рвать...

– Ты это что же, гад!.. – Давыдов побелел, разом вскинул на Якова Лукича глаза, от гнева налитые слезами. – Вредительством занимаешься?... Не знал ты, что песок нельзя в станки сыпать? Не знал, что волы могут примерзнуть?

– Быкам хотел... Видит бог, не знал!

– Замолчи ты с своим!.. Не поверю, чтобы ты – такой хозяйственный мужик – не знал!

Яков Лукич заплакал, сморкаясь, бормотал все одно и то же:

– Чистоту хотел соблюсть... Чтоб навозу не было... Не знал, недодумал, что оно так выйдет...

– Ступай, сдай дела Ушакову. Будем тебя судить.

– Товарищ Давыдов!..

– Выйди, говорят тебе!

После ухода Якова Лукича Давыдов уже спокойнее продумал случившееся. Заподозрить Якова Лукича во вредительстве – теперь уже казалось ему – было нелепо. Островнов ведь не был кулаком. И если его кое-кто иногда и называл так, то это было вызвано просто мотивами личной неприязни. Однажды, вскоре после того, как Островнов был выдвинут завхозом, Любишкин как-то вскользь бросил фразу: «Островнов сам – бывший кулак!» Давыдов тогда же проверил и установил, что Яков Лукич много лет тому назад действительно жил зажиточно, но потом неурожай разорил его, сделал середняком. Подумал-подумал Давыдов и пришел к выводу, что Яков Лукич не виновен в несчастном случае с быками, что присыпать воловню песком он заставил, движимый желанием установить чистоту и отчасти, может быть, своим постоянным стремлением к новшествам. «Если б он был вредителем, то не работал бы так ударно, и потом ведь пара его быков тоже пострадала от этого, – думал Давыдов. – Нет, Островнов – преданный нам колхозник, и случай с песком – просто печальная ошибка, факт!» Он вспомнил, как Яков Лукич заботливо и смекалисто устраивал теплые базы, как берег сено, как однажды, когда заболели три колхозные лошади, он с вечера до утра пробыл на конюшне и собственноручно ставил лошадям клизмы, вливал им внутрь конопля-

ное масло, чтобы прошли колики; а потом первый предложил выбросить из колхоза виновника болезни лошадей – конюха первой бригады Куженкова, который, как оказалось, в течение недели кормил лошадей одной житной соломой. По наблюдению Давыдова, о лошадях Яков Лукич заботился, пожалуй, больше, чем кто-либо. Припомнив все это, Давыдов почувствовал себя пристыженным, виноватым перед завхозом за свою вспышку неоправданного гнева. Ему было неловко, что он так грубо накричал на хорошего колхозника, уважаемого согражданами члена правления колхоза, и даже заподозрил его – виновного в одной неосмотрительности – во вредительстве. «Какая чушь!» – Давыдов взъерошил волосы, смущенно крякнул, вышел из комнаты.

Яков Лукич говорил со счетоводом, держа в руке связку ключей, губы его обиженно дрожали...

– Ты вот что, Островнов... Ты дела не сдавай, продолжай работать, факт. Но если у тебя такая штука снова получится... Словом, это самое... Вызови из района ветеринарного фельдшера, а бригадирам скажи, чтобы обмороженных быков освободили от нарядов.

Первая попытка Якова Лукича повредить колхозу окончилась для него благополучно. Половцев временно освободил Островнова от следующих заданий, так как был занят другим: к нему приехал – как всегда, ночью – новый человек. Он отпустил подводу, вошел в курень, и тотчас же Половцев увлек его к себе в горенку, приказал, чтобы никто не входил. Они проговорили допоздна, и на следующее утро повеселевший Половцев позвал Якова Лукича к себе.

– Вот, дорогой мой Яков Лукич, это – член нашего союза, так сказать, наш соратник, подпоручик, а по-казацкому – хорунжий, Лятевский Вацлав Августович. Люби его и жалуй. А это – мой хозяин, казак старого закала, но сейчас пребывающий в колхозе завхозом... Можно сказать – советский служащий...

Подпоручик привстал с кровати, протянул Якову Лукичу белую широкую ладонь. На вид был он лет тридцати, желтолиц и худощав. Черные вьющиеся волосы, зачесанные вверх, ниспадали до стоячего воротника черной сатиновой рубахи. Над прямыми веселыми губами реденькие курчавились усы. Левый глаз был навек прижмурен, видимо после контузии; под ним недвижно бугрилась собранная в мертвые складки кожа, сухая и безжизненная, как осенний лист. Но прижмуренный глаз не нарушал, а как бы подчеркивал веселое, смешливое выражение лица бывшего подпоручика Лятевского. Казалось, что карий глаз его вот-вот ехидно мигнет, кожа расправится и лучистыми морщинами поползет к виску, а сам жизнерадостный подпоручик расхохочется молодо и заразительно. Кажущаяся мешковатость одежды была нарочита, она не стесняла резких движений хозяина и не скрывала его щеголеватой выправки.

Половцев в этот день был необычно весел, любезен даже с Яковым Лукичом. Ничего не значащий разговор он вскоре закончил; поворачиваясь к Островнову лицом, заявил:

– Подпоручик Лятевский останется у тебя недели на две, а я сегодня, как только стемнеет, уеду. Все, что понадобится Вацлаву Августовичу, доставляй, все его приказы – мои приказы. Понял? Так-то, Яков свет Лукич! – И значительно подчеркнул, кладя пухложилую руку на колено Якова Лукича: – Скоро начнем! Еще немного осталось терпеть. Так и скажи нашим казакам, пусть приободряются духом. Ну, а теперь ступай, нам еще надо поговорить.

Случилось что-то необычайное, что понуждало Половцева выехать из Гремячего Лога на две недели. Яков Лукич горел нетерпением узнать. С этой целью он пробрался в зал, откуда Половцев когда-то подслушивал его разговор с Давыдовым, приник ухом к тонкой переборке. Из-за стены, из горенки, чуть слышный уловил он разговор:

Лятевский. Безусловно, вам необходимо связаться с Быкадоровым... Его превосходительство, разумеется, сообщит вам при свидании, что планы... удобная ситуация... Это же замечательно! В Сальском округе... бронепоезд... в случае поражения...

Половцев. Тссс!..

Лятевский. Нас, надеюсь, никто не слышит?

Половцев. Но все же... Конспирация во всем...

Лятевский (еще тише, так что Яков Лукич невольно утратил связность в его речи). Поражения... конечно... Афганистан... При их помощи пробраться...

Половцев. Но средства... ГПУ... (И дальше сплошное: «бу-бу-бу-бу-бу...»)

Лятевский. Вариант таков: перейти границу... Минске... Миную... Я вас уверяю, что пограничная охрана... Отделе генштаба, безусловно, примут... Полковник, фамилия мне известна... условная явка... Так ведь это же могущественная помощь! Такое покровительство... Дело же не в субсидии...

Половцев. А мнение особого?

Лятевский. Уверен, что генерал повторит... много! Мне велено на словах, что... крайне напряженное, используя... не упустить момента...

Голоса перешли на шепот, и Яков Лукич, так ничего и не понявший из отрывочного разговора, вздохнул, пошел в правление колхоза. И снова, когда подошел к бывшему Титкову дому и по привычке скользнул глазами по прибитой над воротами белой доске с надписью: «Правление Гремяченского колхоза», почувствовал обычную раздвоенность. А потом вспомнил подпоручика Лятевского и уверенные слова Половцева: «Скоро начнем!» – и со злорадством, со злостью на себя подумал: «Скорее бы! А то я промеж ними и колхозом раздерусь, как бык на сколизи!»

Ночью Половцев оседлал коня, уложил в переметные сумы все свои бумаги, взял харчей и попрощался. Яков Лукич слышал, как мимо окон весело, с переплясом, с сухим чокотом копыт прошел-протанцевал под седлом застоявшийся половцевский конь.

Новый жилец оказался человеком непоседливым и по-военному бесцеремонным. Целыми днями он, веселый, улыбающийся, шатался по куреню, шутил с бабами, не давал покою старой бабке, до смерти не любившей табачного дыма: ходил, не боясь, что к Якову Лукичу заглянет кто-либо из посторонних, так что Яков Лукич даже заметил ему:

– Вы бы поосторожней... Не ровен час, кто заявится и увидит вас, ваше благородие.

– А у меня что, на лбу написано, что я – «ваше благородие»?

– Нет, да ить могут спросить, кто вы, откель...

– У меня, хозяин, липы полны карманы, а уж если туго будет, не поверят, то предъявлю вот этот мандат... С ним всюду можно пройти! – И достал из-за пазухи черный, матово поблескивающий маузер, все так же весело улыбаясь, вызывающе глядя недвижным глазом, укрытым за бугристой складкой кожи.

Веселость лихого подпоручика пришлась не по душе Якову Лукичу особенно после того, как, возвращаясь однажды вечером из правления, он услышал в сенях приглушенные голоса, сдавленный смех, возню и, чиркнув спичкой, увидел в углу за ящиком с отрубями одиноко блеснувший глаз Лятевского, а рядом красную, как кумач, сноху, смущенно одергивавшую юбку и поправлявшую сбитый на затылок платок... Яков Лукич, слова не молвя, шагнул было в кухню, но Лятевский нагнал его уже у порога, хлопнул по плечу, шепнул:

– Ты, папаша, молчок... Сынишку своего не волнуй. У нас, у военных, знаешь как? Быстрота и натиск! Кто смолоду не грешил, кхе, кгм... На-ка вот папироску, закури... Ты сам со снохой не того? Ах ты, шельмец этакой!

Яков Лукич так растерялся, что взял папироску и только тогда вошел в кухню, когда закурил от спички Лятевского. А тот, угостив хозяина огоньком, нравоучительно и подавляя зевоту сказал:

– Когда тебе оказывают услугу, например спичку зажигают, надо благодарить. Эх ты, невежа, а еще завхоз! Раньше я бы тебя и в денщики не взял.

«Ну и жильца черт накачал на мою шею!» – подумал Яков Лукич.

Нахальство Лятьевского подействовало на него удручающе. Сына – Семена – не было, он уехал по наряду в район за ветеринарным фельдшером. Но Яков Лукич решил не говорить ему ничего, а сам позвал сноху в амбар и там ее тихонько поучил, отхлестал бабочку чересседельней; но так как бил не по лицу, а по спине и ниже, то наглядных следов побоев не оказалось. И даже Семен ничего не заметил. Он вернулся из станицы ночью, жена собрала ему вечерять, и, когда сама присела на лавку, на самый край, Семен простодушно удивился:

– Чего это ты как в гостях садишься?

– Чирий у меня... вскочил... – Жененка Семенова вспыхнула, встала.

– А ты бы луку пожевала с хлебом да приложила, сразу вытянет, – сердобольно посоветовал Яков Лукич, в это время сучивший возле прирубка дратву.

Сноха блеснула на него глазами, но ответила смиренно:

– Спасибо, батюшка, и так пройдет...

Лятьевскому изредка привозили пакеты. Он читал содержимое их и тотчас же сжигал в грубке³⁴. Под конец стал попивать ночами, со снохой Якова Лукича уже не заигрывал, поугрюмел и все чаще просил Якова Лукича или Семена достать «поллитровочку», совал в руки новые, хрустящие червонцы. Напиваясь, он склонен был к политическим разговорам, в разговорах – к широким обобщениям и, по-своему, объективной оценке действительности. Однажды в великое смущение поверг он Якова Лукича. Зазвал его к себе в горенку, угостил водкой; цинически подмигивая, спросил:

– Разваливаешь колхоз?

– Нет, зачем же, – притворно удивился Яков Лукич.

– Какими же ты методами работаешь?

– Как то есть?

– Какую работу ведешь? Ведь ты же диверсионер... Ну, что ты там делаешь? Лошадей стрихнином травишь, орудия производства портишь или что-либо еще?

– Лошадей мне не приказано трогать, даже совсем наоборот... – признался Яков Лукич.

Последнее время он почти не пил, потому-то стакан водки подействовал на него оглушающе, поманил на откровенность. Ему захотелось пожаловаться на то, как болеет он душой, одновременно строя и разрушая обобщественное хуторское хозяйство, но Лятьевский не дал ему говорить; выпив водку и больше не наливая Якову Лукичу, спросил:

– А зачем ты, дура этакая стоеросовая, связался с нами? Ну, спрашивается, зачем? За каким чертом? Половцеву и мне некуда деваться, мы идем на смерть... Да, на смерть! Или мы победим, хотя, знаешь ли, хамлет, шансов на победу прискорбно мало... Одна сотая процента, не больше! Но уж мы таковы, нам терять нечего, кроме цепей, как говорят коммунисты. А вот ты? Ты, по-моему, просто жертва вечерняя. Жить бы тебе да жить, дураку... Положим, я не верю, чтобы такие, как ты, хамлеты могли построить социализм, но все же... вы хоть воду бы взмутили в мировом болоте. А то будет восстание, шлепнут тебя, седого дьявола, или просто заберут в плен и как несознательного пошлют в Архангельскую губернию. Будешь там сосны рубить до второго пришествия коммунизма... Эх ты, сапог! Мне – понятно почему – надо восставать, ведь я дворянин! У моего отца было пахотной земли около пяти тысяч десятин да леса почти восемьсот. Мне и другим, таким как я, кровно обидно было ехать из своей страны и где-то на чужбине в поте лица, что называется, добывать хлеб насущный. А ты? Кто ты такой? Хлебоборб и хлебобед! Жук навозный! Мало вас, сукиных сынов, казашишек, пошлепали за гражданскую войну!

– Так житья же нам нету! – возражал Яков Лукич. – Налогами подушили, худобу забирают, нету единоличной жизни, а то, само собою, на кой вы нам ляд, дворяне да разные подобные, и нужны. Я бы ни в жизнь не пошел на такой грех!

³⁴ Грубка – печка.

– Подумаешь, налоги! Будто бы в других странах крестьянство не платит налогов. Еще больше платит!

– Не должно быть.

– Я тебя уверяю!

– Да вам откель же знать, как там живут и что платят?

– Жил там, знаю.

– Вы, стало быть, из-за границы приехали?

– А тебе-то что?

– Из интересу.

– Много будешь знать – очень скоро состаришься. Иди и принеси еще водчонки.

Яков Лукич за водкой послал Семена, а сам, взалкав одиночества, ушел на гумно и часа два сидел под прикладком соломы, думал: «Проклятый морщенный! Наговорил, ажник голова распухла. Или это он меня спытывает, что скажу и не пойду ли супротив их, а потом Александру Анисимычу передаст по прибытию его... а энтот меня и рубанет, как Хопрова? Или, может, взаправди так думает? Ить что у трезвого на уме, то у пьяного на языке... Может, и не надо бы вязаться с Половцевым, потерпеть тихочко в колхозе годок-другой? Может, власти и колхозы-то через год пораспускают, усмотрев, как плохо в них дело идет? И опять бы я зажил человеком... Ах, боже мой, боже мой! Куда теперь деваться? Не сносить мне головы... Зараз уж, видно, одинаково... Хучь сову об пенек, хучь пеньком сову, а все одно сове не воскресать...»

По гумну, перевалившись через плетень, заходил, хозяйствуя, ветер. Он принес к скирду рассыпанную возле калитки солому, забил ее в лазы, устроенные собаками, очесал взлохмаченные углы скирда, где солома не так плотно слеглась, смел с вершины прикладка сухой снежок. Ветер был большой, сильный, холодный. Яков Лукич долго пытался понять, с какой стороны он дует, – и не мог. Казалось, что ветер топчется вокруг скирда и дует по очереди со всех четырех сторон. В соломе – потревоженные ветром – завозились мыши. Попискивая, бегали они своими потайными тропами, иногда совсем близко от спины Якова Лукича, привалившегося к стенистому скирду. Вслушиваясь в ветер, в шорох соломы, в мышинный писк и скрип колодезного журавля, Яков Лукич словно бы придремал: все ночные звуки стали казаться ему похожими на отдаленную диковинную и грустную музыку. Полузакрытыми слезящимися глазами он смотрел на звездное небо, вдыхал запах соломы и степного ветра; все окружающее казалось ему прекрасным и простым...

Но в полночь приехал от Половцева из хутора Войскового коннонарочный. Лятевский прочитал письмо, с пометкой на конверте: «В. срочно», – разбудил спавшего в кухне Якова Лукича:

– На-ка вот, прочитай.

Яков Лукич, протирая глаза, взял адресованное Лятевскому письмо. Чернильным карандашом на листке из записной книжки было четко, кое-где с буквой «ять» и твердыми знаками, написано:

«Господин подпоручик!

Нами получены достоверные сведения о том, что ЦК большевиков собирает среди хлебоборобческого населения хлеб, якобы для колхозных посевов. На самом деле хлеб этот пойдет для продажи за границу, а хлебоборобы, в том числе и колхозники, будут обречены на жестокий голод. Советская власть, предчувствуя свой неминуемый и близкий конец, продает последний хлеб, окончательно разоряет Россию. Приказываю Вам немедленно развернуть среди населения Гремячего Лога, в коем Вы в настоящее время представляете наш союз, агитацию против сбора мнимосеменного хлеба. Поставьте в известность о содержании моего письма к Вам Я. Л. и обяжите его срочно повести разъяснительную работу. Крайне необходимо во что бы то ни стало воспрепятствовать засыпке хлеба».

Наутро Яков Лукич, не заходя в правление, отправился к Баннику и остальным единомышленникам, завербованным им в «Союз освобождения Дона».

Глава XXIV

Бригада из трех человек, оставленная в Гремячем Логу командиром агитколонны Кондратько, приступила к сбору семфонда. Под штаб бригады заняли один из пустовавших кулацких домов. С самого утра молодой агроном Ветютнев разрабатывал и уточнял, при помощи Якова Лукича, план весеннего сева, давал справки приходившим казакам по вопросам сельского хозяйства, остальное время неустанно наблюдал за очисткой и протравкой поступавшего в амбары семзерна, изредка шел, как он говорил, «ветеринарить»: лечить чью-либо заболевшую корову или овцу. За «визит» он получал обычно «натурой»: обедал у хозяина заболевшей животины, а иногда даже приносил товарищам корчажку молока или чугуна вареной картошки. Остальные двое – Порфирий Лубно, вальцовщик с окружной госмельницы, и комсомолец с маслозавода Иван Найденов – вызывали в штаб гремяченцев, проверяли по списку заведующего амбаром, сколько вызванный гражданин засыпал семян, в меру сил и умения агитировали.

С первых же дней работы выяснилось, что засыпать семфонд придется с немалыми трудностями и с большой оттяжкой в сроке. Все мероприятия, предпринимавшиеся бригадой и местной ячейкой с целью ускорения темпов сбора семян, наталкивались на огромное сопротивление со стороны большинства колхозников и единоличников. По хутору поползли слухи, что хлеб собирается для отправки за границу, что посева в этом году не будет, что с часу на час ожидается война... Нагульнов ежедневно созывал собрания, при помощи бригады разяснял, опровергал нелепые слухи, грозил жесточайшими карами тем, кто будет изобличен в «антисоветских пропагандах», но хлеб продолжал поступать крайне медленно. Казаки норовили с утра уехать куда-либо из дому, то в лес за дровишками, то за бурьяном, или уйти к соседу и вместе с ним переждать в укромном месте тревожный день, чтобы не являться по вызову в сельсовет или штаб бригады. Бабы же вовсе перестали ходить на собрания, а когда на дом приходил из сельсовета сиделец, то отделялись короткой фразой: «Хозяина моего дома нету, а я не знаю».

Словно чья-то могущественная рука держала хлеб...

В штабе бригады обычно шли такие разговоры:

– Засыпал семенное?

– Нет.

– Почему?

– Зерна нету.

– Как это – нету?

– Да так, что очень просто... Думал прилечь на посев, а потом сдал на хлебозаготовку лишки, а самому жевать нечего было. Вот и потравил.

– Так ты что же, и сеять не думал?

– Думалось, да нечем...

Многие ссылались на то, что будто бы сдали по хлебозаготовке и семенное. Давыдов – в правлении, а Ванюшка Найденов – в штабе рылись в списках, в квитанциях ссыпного пункта, проверяли и изобличали упорствующего в неправильной даче сведений: посевной, как оказывалось, оставался. Иногда для этого нужно было подсчитать примерное количество обмолота в двадцать девятом году, подсчитать общее количество сданного по хлебозаготовке хлеба и искать остаток. Но и тогда, когда обнаруживалось, что хлеб оставался, упорствующих не сдавался:

– Оставалась пшеничка, спору нет. Да ить знаете, товарищи, как оно в хозяйстве? Мы привыкли хлеб есть без весу, расходовать без меры. Мне оставили по пуду на душу

на месяц едоцкого, а я, к примеру, съедаю в день по три-четыре фунта. А через то съедаю, что приварок плохой. Вот и перерасход. Нету хлеба, хучь общите!

Нагульнов на собрании ячейки предложил было произвести обыск у наиболее зажиточной части хуторян, не засыпавших семзерна, но этому воспротивились Давыдов, Лубно, Найденов, Размётнов. Да и в директиве райкома по сбору семфонда строжайше воспрещалось производить обыски.

За три дня работы бригады и правления колхоза по колхозному сектору было засыпано только 480 пудов, а по единоличному – всего 35 пудов. Колхозный актив полностью засыпал свою часть. Кондрат Майданников, Любишкин, Дубцов, Демид Молчун, дед Щукарь, Аркашка Менок, кузнец Шалый, Андрей Размётнов и другие привезли зерно в первый же день. На следующий – с утра к общественному амбару шагом подъехали на двух подводах Семен Якова Лукича и сам Яков Лукич. Лукич тотчас же пошел в правление, а Семка стал сносить с саней чувалы с зерном. Принимал и вешал Демка Ушаков. Четыре чувала Семен высыпал, а когда развязал гузырь пятого, Ушаков налетел на него ястребом:

– Это таким зерном твой батя собирался сеять? – и сунул под нос Семену горсть зерна.

– Каким это? – вспыхнул Семен. – Ты с косога глазу, видать, пшеницу за кукурузу счел!

– Нет, не за кукурузу! Я – косой, да зрячей тебя, жулика! Обое вы с батюшкой хороши, зна-а-аем! Это что? Семенное? Да ты нос не вороти! Ты чего мне в чистую зерно насыпал, гадская морда?

Демка совал к лицу Семена ладонь, а на ладони лежала горстка сорного, перемешанного с землею и вилой зерна.

– Я вот зараз людей кликну...

– Да ты не ори! – испугался Семен. – Видно, по ошибке захватил чувал... Зараз вернусь и переменю... Чудной, ей-бо! Ну, чего расходился-то, как бондарский конь? Сказано – переменю, промашка вышла...

Демка забраковал шесть чувалов из четырнадцати привезенных. И когда Семен попросил его помочь поднять на плечо один из чувалов с забракованным зерном, Демка отвернулся к весам, будто не слыша.

– Не помогаешь, стало быть? – с дрожью в голосе спросил Семен.

– Совесть! Дома подымал, небось легко было, а зараз почижелело? Сам подымай, таковский!

Малиновы от натуги, Семен взял чувал поперек, понес...

За два следующих дня поступлений почти не было. На собрании ячейки решено было идти по дворам. Давыдов накануне выехал в соседний район на селекционную станцию, чтобы внеплановым порядком добыть на обсеменение хотя нескольких гектаров засухоустойчивой яровой пшеницы, превосходно выдерживавшей длительный период бездождья и давшей в прошлом году на опытном поле станции отменный урожай. Яков Лукич и бригадир Агафон Дубцов много говорили о новом сорте пшеницы, добытом на селекционной станции путем скрещивания привозной «калифорнийской» с местной «белозерной», и Давыдов, за последнее время усиленно приналегавший по ночам на агротехнические журналы, решил поехать на станцию добыть новой пшеницы.

Из поездки он вернулся 4 марта, а за день до его возвращения случилось следующее: Макар Нагульнов, прикрепленный ко второй бригаде, с утра обошел вместе с Любишкиным около тридцати дворов, а вечером, когда из сельсовета ушли Размётнов и секретарь, стал вызывать туда тех домохозяев, дворы которых не успел обойти днем. Человек четырех отпустил, так и не добившись положительных результатов. «Нет хлеба на семена. Пушай государство дает». Нагульнов уговаривал вначале спокойно, потом стал постукивать кулаком.

– Как же вы говорите, что хлеба нету? Вот ты, к примеру, Константин Гаврилович, ить пудов триста намолотил осенью!

– А хлеб ты сдавал за меня государству?

– Сколько ты сдал?

– Ну, сто тридцать.

– Остатный где?

– Не знаешь где? Съел!

– Брешешь! Разорвет тебя – столько хлеба слопать! Семьи – шесть душ, да чтобы столько хлеба съисть? Вези без разговору, а то из колхоза вышибем в два счета!

– Увольняйте из колхозу, что хотите делайте, а хлеба, истинный Христос, нету! Пушай власть хучь под процент отпустит...

– Ты повадился Советскую власть подсасывать. Деньги-то, какие брал в кредит на попку садики и травокоски, возвернул кредитному товариществу? То-то и есть! Энти денежки зажилил да ишо хлебом норовишь поджиться?

– Все одно теперича и травокоска и садилка – колхозные, самому не довелось попользоваться, нечего и попрекать!

– Ты вези хлеб, а то плохо тебе будет! Закоснел в брехне! Совестно!

– Да я бы с великой душой, кабы он был...

Как ни бился Нагульников, как ни уговаривал, чем ни грозил, а все же пришлось отпустить не желавших засыпать семена.

Они вышли, минуты две переговаривались в сенях, потом заскрипели сходцы. Немного погодя вошел единоличник Григорий Банник. Он, вероятно, уже знал о том, чем кончился разговор с только что вышедшими из сельсовета колхозниками, в углах губ его подрагивала самоуверенная, вызывающая улыбочка. Нагульников дрожащими руками расправил на столе список, глухо сказал:

– Садись, Григорий Матвеич.

– Спасибо на приглашении.

Банник сел, широко расставив ноги.

– Что же это ты, Григорий Матвеич, семена не везешь?

– А мне зачем их везть?

– Так было же постановление общего собрания – и колхозникам и единоличникам – семенной хлеб свезть. У тебя-то он есть?

– А то как же, конечно есть.

Нагульников заглянул в список: против фамилии Банника в графе «предполагаемая площадь ярового посева в 1930 году» стояла цифра «6».

– Ты собирался в нынешнем году шесть га пшеницы сеять?

– Так точно.

– Значит, сорок два пуда семян имеешь?

– Все полностью имею, подсеянный и очищенный хлебец, как золотцо!

– Ну, это ты – герой! – облегченно вздохнув, похвалил Нагульников. – Вези его завтра в общественный амбар. Могешь в своих мешках оставить. Мы от единоличников даже в ихних мешках примаем, ежели не захочет зерно мешать. Привезешь, сдашь по весу заведующему, он наложит на мешки сюргучевые печати, выдаст тебе расписку, а весной получишь свой хлеб целеньким. А то многие жалуются, что не соблюли, поели. А в амбаре-то он надежней сохранится.

– Ну, это ты, товарищ Нагульников, оставь! – Банник развязно улыбнулся, пригладил белесые усы. – Этот твой номер не пляшет! Хлеба я вам не дам.

– Это почему же, дозвошь спросить?

– Потому, что у меня он сохранней будет. А вам отдай его, а к весне и порожних мешков не получишь. Мы зараз тоже ученые стали, на кривой не объедешь!

Нагульников сдвинул разлтые брови, чуть побледнел.

– Как же ты можешь сомневаться в Советской власти? Не веришь, значит?!

– Ну да, не верю! Наслухались мы брехнев от вашего брата!

– Это кто же брехал? И в чем? – Нагульнов побледнел заметней, медленно привстал.

Но Банник, словно не замечая, все так же тихо улыбался, показывая ядренные редкие зубы, только голос его задрожал обидой и жгучей злобой, когда он сказал:

– Соберете хлебец, а потом его на пароходы да в чужие земли? Антанабилы покупать, чтоб партийные со своими стриженными бабами катались? Зна-а-аем, на что нашу пашеничку гатите! Дожились до равенства!

– Да ты одурел, чертяка! Ты чего это балабонишь?

– Небось одуреешь, коли тебя за глотку возьмут! Сто шешнадцать пудиков по хлебо-заготовке вывез! Да зараз последний, семенной, хотите... чтоб детей моих... оголодить...

– Цыц! Брешешь, гад! – Нагульнов грохнул кулаком по столу.

Свалились на пол счеты, опрокинулась склянка с чернилами. Густая фиолетовая струя, блистая, проползла по бумаге, упала на полу дубленого полушубка Банника. Банник смахнул чернила ладонью, встал. Глаза его сузились, на углах губ вскипели белые заеды, с задавленным бешенством он выхрипел:

– Ты на меня не цыкай! Ты на жену свою Лушку стучи кулаком, а я тебе не жена! Ноне не двадцатый год, понял? А хлеба не дам... Кка-тись ты!..

Нагульнов было потянулся к нему через стол, но тотчас, качнувшись, выпрямился:

– Ты это... чьи речи?.. Ты это чего, контра, мне тут?.. Над социализмом смеялся, гад!.. А зараз... – Он не находил слов, задыхался, но, кое-как овладев собой, вытирая тылом ладони клейкий пот с лица, сказал: – Пиши мне зараз расписку, что завтра вывезешь хлеб, и завтра же ты у меня пойдешь куда следует. Там допытаются, откуда ты таких речей наслухался!

– Арестовать ты меня можешь, а расписки не напишу и хлеб не дам!

– Пиши, говорю!..

– Трошки повремени...

– Я тебя добром прошу...

Банник пошел к выходу, но, видно, злоба так люто возгорелась в нем, что он не удержался и, ухватясь за дверную ручку, кинул:

– Зараз приду и высыплю свиньям этот хлеб! Лучше они нехай потрескают, чем вам, чужеедам!..

– Свиньям? Семенной?!

Нагульнов в два прыжка очутился возле двери, – выхватив из кармана наган, ударил Банника колодкой в висок. Банник качнулся, прислонился к стене, – обтирая спиной побелку, стал валиться на пол. Упал. Из виска, из ранки, смачивая волосы, высочилась черная кровь. Нагульнов, уже не владея собой, ударил лежащего несколько раз ногою, отошел. Банник, как очутившаяся на суше рыба, зевнул раза два, а потом, цепляясь за стену, начал подниматься. И едва лишь встал на ноги, как кровь пошла обильней. Он молча вытирал ее рукавом, с обеленной спины его сыпалась меловая пыль. Нагульнов пил прямо из графина противную, степлившуюся воду, ляская о края зубами. Искоса глянув на поднявшегося Банника, он подошел к нему, взял, как клещами, за локоть, толкнул к столу, сунул в руку карандаш:

– Пиши!

– Я напишу, но это будет известно прокурору... С-под нагана я что хошь напишу... Бить при Советской власти не дозволено... Она – партия – тебе тоже за это не уважит! – хрипло бормотал Банник, обессиленно садясь на табурет.

Нагульнов стал напротив, взвел курок нагана.

– Ага, контра, и Советскую власть, и партию вспомнул! Тебя не народный суд будет судить, а я вот зараз, и своим судом. Ежели не напишешь – застрелю как вредного гада, а потом пойду за тебя в тюрьму хоть на десять лет! Я тебе не дам над Советской властью

надругиваться! Пиши: «Расписка». Написал? Пиши: «Я, бывший активный белогвардеец, мамонтовец, с оружием в руках приступавший к Красной армии, беру обратно свои слова...» Написал?.. «...свои слова, невозможно оскорбительные для ВКП(б)». ВКП с заглавной буквы, есть? «...и Советской власти, прошу прощения перед ними и обязываюсь впредь, хотя я и есть скрытая контра...»

– Не буду писать! Ты чего меня сильничаешь?

– Нет, будешь! А ты думал – как? Что я, белыми израненный, искаженный, так тебе спущу твои слова? Ты на моих глазах смывался над Советской властью, а я бы молчал! Пиши, душа с тебя вон!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.